



ВЛАДИМИР
ШМЕРЛИНГ

ДЕТИ
ИВАНА СОКОЛОВА









ВЛАДИМИР ШМЕРЛИНГ

ДЕТИ ИВАНА СОКОЛОВА



художник
В. Горячев

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

Ещё шли бои, когда советские воины среди руин и развалин находили и спасали детей — невольных свидетелей исторического Сталинградского сражения.

Их было много, около пяти тысяч — маленьких сталинградских фронтовиков. Почти полгода прожили они в окопах и блиндажах, совсем рядом с передовой линией... Немыслимые страдания выпали на их долю, хотя защитники Сталинграда как могли помогали им, согревали заботой и лаской, делились последним куском хлеба...

Об этих детях спустя несколько лет после войны и написал повесть В. Г. Шмерлинг. Её главный герой — Гена Соколов, сын сталевара Ивана Соколова, — вспоминает о том, что видел и пережил в дни Великой Отечественной войны... Мальчик был рядом с отважной разведчицей комсомолкой Шурой, когда она выполняла опасные задания на родной земле, захваченной врагом.

В повести «Дети Ивана Соколова» рассказывается о том, как Гена потерял и нашёл сестру Олю, как к его другу Сергею вернулась память. Книга повествует о простых и сердечных людях, которые помогли детям Сталинграда найти своё место в жизни.

Ш 4803010201—446 226—89
М101(03)-89

ISBN 5—08—000478—9

Глава первая
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВМЕСТЕ

Отец пришёл, когда мы только что сели за стол. Мама держала полную до краёв разливную ложку. Она вздрогнула и вылила суп обратно в кастрюлю.

— Что, не ждали? — засмеялся отец.

— Нет, ждали, ждали! — закричали мы с Олей, выскакивая из-за стола.

Отец приподнял Олю. Сестра, как всегда, зажмурилась — знала, что сейчас полетит под самый потолок.

И вот она уже на полу, держится ручонками за папин сапог.

Мама поставила тарелку отцу и сказала, будто скомандовала:

— По местам!

Из тарелок идёт пар. Оля важничает, дует на ложку, а мне не до еды, лишь бы вволю наговориться с отцом.

Что суп! Едим мы его каждый день, а то и два раза в день, а вот отец так редко стал бывать дома. Уже давно мы все вместе не сидели за столом.

Казалось, отец только что пришёл из бани — выбритый и гладенький. На нём всё новое: и зелёная гимнастёрка, и блестящий ремень.

А в углу, куда отец обычно ставил мокрый после бани веник, теперь лежит новый мешок, тоже зелёного цвета. У самого мешка прислонённая к стене винтовка.

— Смотри не подходи и не трогай, — словно читая мои мысли, сказала мама.

— Я ему сам всё покажу. Все приёмы штыкового боя, — пообещал отец и добавил: — Гена у нас сам как штык!

Обрадованный, я выпалил последнюю новость:

— А я, папа, взаправдашнего Будённого видел, он по нашей улице проезжал.

— Не обознался?

— Не обознался, папа. По усам узнать можно!

— Верно, Гена, здесь он, — сказал отец и задумался; потом быстро встал, вытащил из зелёного мешка преогромный арбуз и, хрустнув коркой, разрезал его пополам.

Оля старательно выковыривала из своего куска чёрненькие семечки, а я прямо с семечками глотал...

Мать стала собирать отца. На дворе жара, а она зачем-то кладёт в зелёный мешок шерстяные носки...

Отец достал из шкафа пачку фотографий и стал рассматривать их одну за другой.

— Вот какие мы с тобой девять лет тому назад были. И жили без Генки и Оли. Как мы без них жить могли! — сказал он маме и, отобрав самые маленькие фотографии, положил их

в партбилет, под блестящую бумажку, которой всегда обёртывал свою драгоценную книжечку.

Потом он отстегнул от цепочки новые наградные часы с именной надписью на крышке, а вместо них взял с комода дедушкины старинные, которые мы называли «цилиндр». Передал маме какие-то бумаги, напомнил, чтобы она приготовила мешки для капусты и отнесла на завод. Папа несколько раз прошёлся по комнате, подошёл к маме и что-то сказал ей совсем тихо...

Оля-долгоешка никак не могла справиться с арбузом. Так с куском арбуза и посадила её мама на диван, сама села с папой рядышком и меня к себе пододвинула.

Отец поднялся первым, поцеловал Олю, и она потянулась к нему, прикоснулась сладкими губами к его щеке и тут же снова принялась за арбуз.

Папа несколько раз провёл рукой по моей стриженной голове (меня тогда постригли «под ноль» в парикмахерской у Тёщиной остановки) и улыбнулся:

— Колючий ты мой новобранец!..

— А как же штыковой бой? — напомнил я ему.

— В следующий раз.— Отец прижал меня к себе и поцеловал.

Он надел каску, затянул ремешок, взял винтовку. Мешок подняла мама.

Я тоже кинулся к дверям. Но мама сказала, чтобы я остался дома с Олей да прибрал арбузные корки.

В последнее время всегда так: сама уйдёт, а мне смотреть за Олей.

Папа и мама ушли.

И почти на том самом месте, где утром

пронёсся мимо меня на автомобиле маршал Будённый, я в последний раз увидел отца.

Сколько лет прошло с того дня, но когда я рассказываю теперь об этом, мне словно и вспоминать не приходится,— так запомнилось всё, до мельчайшей чёрточки. Будто мне снова восемь лет.

Как мне хотелось тогда догнать отца!

Я не успел ему рассказать самого главного: про то, что видел матросов! Их ведь раньше не было в нашем городе. Они прошли строем, чётко отбивая шаг. Ветер теребил чёрные ленточки. Шли молча, без песен, зато мы, мальчишки, старались всюду, распевая разными голосами:

По морям, по волнам,
Нынче здесь — завтра там!

Я ещё никогда не видел, как идут матросы, и мне захотелось тогда самому стать матросом и так шагать, чтобы на меня все смотрели.

Вместе с другими мальчишками нашей улицы я выбежал на набережную, к тому месту, куда причалило морское судно. Мы не сводили глаз с матроса на вышке. Он ловко размахивал двумя флажками: то правый опустит вниз, то левый в сторону откинет...

После этого мы тоже понаделали себе флажков и начали тренироваться — кто как умел.

Оле очень нравилось, как я размахивал флажками. А у неё самой ничего не получалось: флажки то и дело насккивали друг на друга.

Многое можно было увидеть и услышать тогда на наших улицах: с полигона доносилась стрельба, по мостовым грохотали танкетки...

На Тракторный приезжали фронтовики за танками. Они обкатывали танки; остановятся,



вылезут из верхнего люка и начнут выслушивать машину. Нас танкисты никогда не прогоняли и жили с нами в большой дружбе.

А ещё мы видели, как маршировали ополченцы. Всем строем разом, по команде, они поворачивались кругом, и нам казалось смешным, если кто-нибудь поворачивался не в ту сторону или путал ногу.

...Мама пошла провожать папу, а я сидел рядом с Олей на полу, складывал кубики с картинками диких зверей, а сам думал о том, сколько обещаний не успел выполнить отец.

Отец обещал подарить мне кубики из нержавеющей стали, взять на рыбалку, а к зиме купить черепаху или маленького разноцветного попугайчика, который летает, каркает, а главное, живёт сто лет.

В зоологическом саду мы были? Были. Я ещё у него на плечах сидел. А вот на пароходе вниз по Волге до самой Астрахани так и не прокатились. Не получил я в подарок и настоящий барабан. А самое главное — не взял меня отец к себе на мартен, хотя сколько раз говорил: «Сведу обязательно!»

После того как папа записался в народное ополчение, редко мы стали бывать и на Волге, раз только на пляж ездили.

Мой папа разных волгарей знал — и капитанов-старичков и рыболовов. По гудкам пароходы узнавал.

И ещё любил папа мне про Волгу рассказывать: как мальчиком с крутой горы он камешки бросал, как вязал плоты, как и где в разлив плавал, паром на воду спускал и про то, как весной на отмелях сазанов руками ловил.

Папа и плавать меня научил. Очень воду

любил. Окунётся разок, и не узнать его: озорничает, брызгается, меня за пятки хватает.

На лодке обязательно к самому пароходу подгребёт, чтоб лучше на волнах покачалось.

Если мама ездила с нами, она всегда надевала платье попроще, знала: и ей достанется. Помню, как папа однажды её с ног до головы окатил. Мама рассердилась, а он как ни в чём не бывало изображал, как навигация начинается: то гудел, как буксир, то — как теплоход скорой линии.

...Оле быстро надоели кубики. Она всё требовала, чтобы я сложил из них обезьянку, ту самую, которая так ей понравилась в зоологическом саду. Она протянула тогда обезьянке сливу. Та вначале понюхала, а потом съела, а косточку выбросила.

Чтобы Оля не плакала, я стал рисовать ей маленьких человечков. Оля фыркала, когда я, рисуя, приговаривал: «Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая». А потом я начал рисовать человечков с огромными животами, с кружком посередине. Эти кружочки — арбузы. Человечки маленькие, а какие обжоры!..

Мама долго не возвращалась. Я закрыл ставни и опустил чёрные бумажные шторы. Мы тогда строго выполняли правила светомаскировки.

На Волге потушили огни, и только в окнах пронесившихся трамваев мелькал синий свет.

Когда мама вернулась, Оля давно уже спала. Себе под подушку я положил бинокль. Я, дуралей, тогда брал его с собой в кровать, чтобы сны лучше видеть.

Я думал о том, какой мой папа счастливый: он с наркомом Серго Орджоникидзе несколько раз разговаривал и даже однажды поздрави-

тельную телеграмму получил от него за свои успехи. Телеграмма висела у нас под стеклом, рядом с Почётной грамотой.

Мама раздела Олю и мокрым полотенцем стёрла с её личика арбузные следы, поцеловала меня и сказала:

— Вот и наш отец защищает Родину!

Я ничего не ответил и закрыл глаза, будто засыпаю, а сам следил за каждым движением мамы. Вот она выдвинула ящики комода и начала раскладывать бельё.

Я всё ждал, когда же мама ляжет спать. В такой поздний час она раньше никогда не занималась уборкой. Должно быть, опять что-то искала — эвакуированным детям отдать.

Началась война, и они к нам в Сталинград приехали и с Украины, и из Ленинграда.

Мама тогда всё собирала — и вещи для эвакуированных, и посуду для госпиталей. Меня отпускала вместе с пионерами по дворам и квартирам тряпки искать для заводов — станки вытирать.

Мама долго копалась, потом сняла скатерть со стола, кружевную дорожку с комода и вышла, прихватив за чем-то разбитое блюдо из-под горшка с цветами да зазубренный осколок зенитного снаряда, который я недавно подобрал во дворе.

Я хотел крикнуть маме, чтобы она его оставила, а потом решил — другой найду!

Мама вернулась с ведром и вымыла пол. Всё снова расстелила, а когда со всем управилась, посмотрела на себя в зеркало.

Засыпая, я видел, что мама достала те же фотографии, какие разглядывал папа, медленно перебирала их, потом, подперев голову руками, долго-долго смотрела на одну из них...

Мама не было дома, она рыла за городом противотанковый ров. В это время неожиданно появился самолёт и с рёвом прошёл совсем низко над нашим домом.

Я увидел на его крыльях чёрные кресты, обведённые белым.

Маме же издали показалось, что сброшенные фашистские бомбы упали именно на нашей улице, и она прибежала, чтобы скорей узнать, всё ли благополучно дома.

Вечером, когда мама укладывала Олю спать, она крепко прижала её к себе, так крепко, что мне даже завидно стало.

Оля попросила, чтобы мама нагнулась: она хотела потрогать своими пальчиками её глаза.

Мне хотелось выложить маме все свои познания, и я сказал:

— Это был двухмоторный бомбардировщик «Юнкерс — 88».

Я тогда уже кое-что понимал в этом. Истребители «мессершмитты» называл «мессерами» и знал, что корпус самолёта называется фюзеляжем и что у самолётов есть не только «хвост», но и «хвостовое оперение», а пикирующие бомбардировщики падают камнем вниз. Я и Оле показывал, как это происходит. Моя кровать была покрыта сиреневым пикейным одеялом. Я скомкал его и с криком «Пике!» кинул вниз. То же самое я проделывал с подушкой.

— Везу-у, везу-у, везу-у. Это фашисты летят,— сказал я с завыванием. Потом произнёс быстро-быстро: — Кому, кому, кому? Бьют наши зенитки.— Затем очень сердито и громко: — Вам! Вам! Вам! Рвутся бомбы.— А под конец с удовольствием громко щёлкнул языком — сбит хищник с чёрным крестом!

Я прислушивался к рокоту моторов в воздухе

и хорошо отличал нудный вой фашистов от мягких и чистых «голосов» наших самолётов. Как нравились мне их короткие и бодрые названия: «миги», «яки», «лаги»!

А мама во всём этом плохо разбиралась. Она стала настороженной, вздрагивала, когда хлопали дверью, и тревожилась, как только начинали бить зенитки.

...Когда я проснулся, мамы уже не было. Окна были раскрыты. В те душные ночи мама распахивала их, как только тушили свет.

Мы ещё спим, а она уже бежит в магазин за хлебом, чтобы получить его до воздушной тревоги.

Я вышел на улицу. Дворник, тётя Анюта, поливала мостовую. Увидев меня, она прицелилась шлангом, и струя ударила мне в лицо. Вот и умываться не пришлось! Я подпрыгнул на одной ноге и побежал домой. Чуть Олю не разбудил, хлопнув дверью.

Оля перевернулась, легла на животик, руками упёрлась в подушку, будто хотела нырнуть под неё, и в такой позе продолжала сладко спать.

В комнате светло и празднично. Ничего нигде не валялось. На спинке кровати — выглаженное мамой Олино любимое платьице с карманчиком.

Бывало, только мама возьмёт шитьё в руки, Оля уже просит, чтобы ей платье с карманчиком сшили, как будто ей нужно было не платье, а только карманчик.

Мама постелила на комод новую дорожку, вышитую ещё до войны, и поставила карточку отца в рамке.

Мы гордились этой карточкой. Ведь папу снимал не простой фотограф, а фотокорреспондент, после того как папа дал скоростную плавку.

Папа смотрел на меня двумя парами глаз:

одни, большие, тёмные, налезли на лоб — это очки-стёкла сталевара,— а под ними папины весёлые глаза; он не то журил, не то подшучивал, будто видел, как меня окатили водой...

А через несколько часов ничего этого не стало — ни прибранной комнаты, ни цветов на подоконнике, ни хлеба, принесённого мамой, ни рамки с фотографией отца...

Глава вторая

СОВСЕМ, СОВСЕМ ОДИН

Весь мир знает, как это произошло.

В солнечный августовский воскресный день тучи фашистских самолётов налетели на Сталинград. Они сбрасывали фугаски и на каменные здания, и на обшитые тёсом домишки. На больницы и гостиницы, на склады и школы.

Повсюду бушевало пламя. Взрывались нефтебаки.

Река отражала объятый пламенем берег.

Было нестерпимо жарко. С крыш летели раскалённые докрасна листы железной кровли.

Скрип, грохот, лязг. Шипели зажигательные бомбы.

В городе не унимался огненный ураган.

Ночью было светло как днём.

...Утром мама принесла хлеб, одела Олю и сказала, что пойдёт в школу.

Мне так и не пришлось учиться в нашей школе. С начала войны в ней разместился госпиталь. Первый свой школьный год мы проучились на квартире учительницы, поэтому я ещё ни разу не сидел за партой.

Но в школу мы всё равно бегали. Нас пускали

в палаты — разносить раненым чай. Они пили чай, а мы в это время читали им наизусть стихи. Там же из марли мы катали бинты.

Мама ушла, а я с Олей играл около дома в догонялки. Потом Оля съела кашу, я помог ей снять платье с карманчиком, и она улеглась спать.

Всё это началось, когда Оля спала. Она проспала тревогу.

Прерывисто гудели гудки.

Я уже привык к гудкам и не будил Олю. Но эта тревога оказалась непохожей на прежние. Застрекотали зенитки. Что-то завизжало, закружилось. Бомбы рвались совсем рядом. А потом так бабахнуло, что наш домик закачался, будто подо мной вместо крашенных половиц — качели и я лечу вниз с большой высоты.

Из окон со звоном полетели стёкла. Мне показалось, что кто-то барабанит по крыше.

Я бросился к Олиной кровати. Она проснулась у меня на руках и заплакала.

— А ты не плачь. Сейчас будем в прятки играть.

Я дотащил Олю до окопа во дворе. Папа вырыл его ещё весной.

Играя в прятки, мы часто залезали сюда. Когда же над городом всё чаще и чаще с оглушительным рёвом стали летать немецкие самолёты, мы прыгали в окоп уже по тревоге.

Как я тогда завидовал наблюдателям, дежурившим на крышах! Знал самые замысловатые авиационные названия и даже гордился этим. Но бывало, не мог отличить «мессершмитт» от обыкновенной галки. Только решу: там, в высоте, одномоторный истребитель, слежу за ним, не спуская глаз, а приблизится — вижу: ворона.

Вот тебе и фюзеляж! В таких случаях я сам называл себя вороной.

Когда вражеские самолёты сбрасывали розовые, белые, синие, зелёные листовки, я несколько раз вылезал из окопа и принимался их ловить.

Думаешь, эта упадёт на пустыре, а она прямо к тебе в руки летит; думаешь, сейчас упадёт к ногам, а её к Волге уносит.

Из-за этих листовок мне однажды влетело от мамы. Она сказала, чтобы я к ним, поганкам, и прикасаться не смел.

На этот раз я не завидовал наблюдателям.

Только мы залезли в окоп, как всё засвистело и завывало.

Оля прижалась ко мне. Такой был гул, такой треск, что вот-вот голова разломится. От гари заслезились глаза.

У Олиных ног я вдруг заметил полосатого котёнка, неизвестно как попавшего к нам в окоп. Он весь съёжился и смотрел на меня большими зелёными глазами.

Я подумал, может, взять его домой — нагнулся и даже погладил «усатого-полосатого». Наверное, он замаякал или замурлыкал, но разве тогда можно было что-нибудь услышать?

Когда отдалились раскаты взрывов, я выглянул из окопа и посмотрел вниз, в сторону завода и Волги. Всё обволокло дымом и пылью, но трубы «Красного Октября», как всегда, чётко вырисовывались в безоблачном небе. Я разглядел: из одной трубы вьётся дымок. По тому, какой дым шёл из труб, мой отец знал, что делается в печах.

С пронзительным свистом пронеслись «мессершмитты». За одним из них погнался наш ястребок. Он зашёл ему в хвост...

Эх, если бы сбили наши немецкий самолёт и упал бы он рядом, я взял бы в плен фашистских лётчиков!..

На мансардные дома со злобным рёвом пикировали один за другим тяжёлые бомбардировщики.

И вдруг в небе какой-то «юнкерс» кувыркнулся и кубарем пошёл вниз, оставляя за собой длинный чёрный хвост дыма. Сейчас грохнется! Я зажмурился.

А когда открыл глаза, гляжу — мама бежит к окопу. Я ещё никогда не видел её такой. Волосы выбились из-под косынки. Она остановилась у самого края окопа и вся дрожала, будто было ей очень холодно.

Опять раздался вой. Мама пригнулась к земле, а потом выпрямилась, оглянулась и побежала к дому. Через несколько минут она снова была у окопа и спустила вниз большой узел.

— Смотрите — никуда! Сейчас воды принесу.

Мама снова кинулась к дому. На этот раз она появилась на крыльце с ведром в одной руке, другой прижимала к себе швейную машинку.

Мама направилась к окопу.

Как раз в это время опять что-то огромное рассекло воздух. На нас посыпалась земля. Мне показалось, что у нашего дома отвалился угол. Грохот то утихал, то приближался. У меня гудело в ушах. Я снова высунулся, ожидая, что сейчас мама передаст мне ведро с водой. Как бы не расплескать!

Мамы не было.

Я посмотрел в ту сторону, где стоял наш дом. Там полыхал огонь.

И тогда я увидел, что совсем близко от окопа лежит мама, откинув голову на битые кирпичи.

Я позвал её, но не услышал своего голоса. Сейчас мама поднимется. Ведь уже можно встать. Она, должно быть, тоже не слышит меня.

И Оля притихла, словно решала — заплакать ей или подождать?

Я вылез из окопа. И почему-то пополз. Я полз, и мне казалось, будто мама стоит с ведром и швейной машинкой на крыльце и смотрит на меня с укором: как смел я её послушаться — ведь она не велела мне вылезать из окопа...

Нет больше крыльца. А мама лежит на земле, лицом к небу, с откинутой рукой.

Я побежал к маме и остановился как вкопанный. На мамином платье в синий горошек я увидел ярко-красное пятно на самой груди. Белая косынка, упавшая с плеч, вся залита кровью.

Людей кругом не было. Я не знал, что мне делать.

А может быть, мама жива? Сколько врачей в нашем госпитале, они спасут, обязательно спасут мою маму! Я наклонился и осторожно положил руку ей на плечо, прикоснулся к виску и ещё раз посмотрел на пятно на груди...

Я гладил и теребил мамины растрепавшиеся волосы и не верил тому, что произошло. Неужели всё это вправду? Нет, сейчас мама встанет, стряхнёт с себя комья земли, и всё будет как прежде. Ничего не понимая, я побрёл к окопу и, только увидев Олю, опомнился. Сестрёнка умудрилась вскарабкаться на узел и тянулась вверх.

Увидев меня, она заплакала. Как только я её не утешал! А ей вдруг сразу всё понадобилось: — Мама, я луку хочу! Мама, пожарь мне лук!..

— Мама устала, она отдохнёт и лук тебе



пожарит,— обманывал я Олю, а сам думал: «Как же мы теперь будем жить без мамы?»

Опять началась бомбёжка. Оля, испуганная и оглушённая, сразу же смолкла, свернувшись калачиком на узле.

Меня так потянуло к маме, что я снова вылез из окопа и побежал. Я уже не обращал внимания на вражеские самолёты, упал на колени и дотронулся до маминой ещё тёплой руки. И так захотелось мне крикнуть, позвать папу...

Я ведь жил и не знал, что такое горе, а оно вот пришло — середь бела дня. Я вдруг понял: никогда, никогда у меня не будет мамы. И странно было, что затуманенными глазами я видел тупые носки своих ботинок.

Первые минуты жизни без мамы...

По дороге бегут, пригибаясь к земле, какие-то люди, что-то кричат, куда-то исчезают. Вот мужчина в военном прошёл совсем рядом. Он посмотрел на меня, на маму и только сказал: — Осколком!

Кто-то окликнул меня, назвал по имени. Мелькнуло знакомое лицо. Кажется, эта женщина где-то работала вместе с мамой, ну да, она заходила к нам то с лопатой, то с топором и всегда торопила маму.

Я снова вернулся к окопу. Оля всё так же лежала на тюке с вещами. Котёнок царапал коготками песок. В окопе стало очень жарко: рядом загорелся сарай. Пламя перекинулось на соседние дома; куда ни взглянешь — всюду к небу вздымаются вихри огня. Ещё задохнёшься здесь!

Я осторожно приподнял Олю и вытащил её наверх. Она нетвёрдо стояла на ножках. И узел я выволок, и только тогда заметил, что Оля — босая.

Я просунул руку в узел и начал шарить. Что-то твёрдое, завёрнутое в платочек. Вытащил свёрток и развернул. Папины часы! Завернул их снова и сунул за пазуху, а сам продолжал шарить в узле.

Нащупал что-то пушистое, должно быть мамин воротник. А вот и они, красненькие туфельки с пуговичками. Мама называла их выходными.

Я старался не смотреть в ту сторону, где лежала мама, и только сказал ей:

— Мы уходим, мама. Не знаю куда, но уходим.

И мне показалось, что она ответила: «Иди, иди, Гена!»

И мы пошли, сами не зная куда. Одной рукой я тянул Олю, другой — узел. Вскоре Оля установилась:

— А киса где?

— Оля, милая, идём,— просил я её.

Она не двигалась с места. Тогда я оттащил узел. Подбежал к Оле, поднял её и понёс к тому месту, где оставил узел.

По обеим сторонам улицы горели, дымились дома. Летели искры; того и гляди, попадёшь под раскалённую головешку. На нас сыпались стёкла. На зубах хрустела сухая кирпичная пыль.

Позади вдруг с грохотом рухнула высокая стена, и нас снова обсыпало известковой пылью.

Оля всё плотней прижималась ко мне, и я чувствовал, как дрожат её ножки.

Впереди виднелись раскалённые каменные глыбы. Казалось, что сейчас у меня начнёт трястись голова, и так захотелось обхватить её руками.

— Эй, мальчик с пальчик, девочку не урони! — крикнул какой-то человек, пробегая мимо.

Он даже не обернулся. А я успел заметить, что был он в трусиках и в одной руке держал какой-то длинный круглый футляр.

Я с облегчением опустил сестру на землю. Около нас оказался чужой дяденька. Он не спешил, как другие. Был он невысокого роста и с бородкой. На его плечи накинута длинная шуба, а в руке круглая меховая, очень важная шапка. Он начал жалеть нас и называть детками. Помнится, что он говорил о подвале какого-то невысокого дома, где он накормит нас тыквенной кашей и уложит спать; этот подвал бомбы не разворотят, потому что там какие-то особо толстые стены.

Я тогда ещё всем верил. А дяденька этот гладил Олю по головке и всё сокрушался, что на ней только ночная рубашечка. Потом он схватил узел, вытащил мамину белую шаль, сложил её и накинул Оле на плечи; потом вытащил мамин воротник, встряхнул и снова всунул в узел вместе со своей круглой шапкой.

— Вы постоите здесь. Я узелочек-то отнесу и сейчас же за вами приду.

Он говорил, а сам всё вытирал рукавом шубы своё потное лицо.

— Сейчас, сейчас, одну минуточку! — кричал он, подбирая полы длинной шубы.

Он исчез с узлом так же быстро, как появился.

Долго стоял я с Олей, не выпуская её руки из своей. Потом вспомнил о часах. Приложил их к уху. Тикают. И Оле дал послушать папины наградные «тики-таки».

Я говорил Оле, что скоро мы вволю напьемся воды, и будем есть кашу, и я ей достану новую ложку...

Не спеша, по-своему, я укутал её в шаль; концы шали связал за спиной. Если и упадёт искра, так не обожжёт...

Говорю с Олей, а сам нет-нет да приложу часы то к одному уху, то к другому. А они словно говорят мне: «Отец жив, отец жив» и «Ты, мальчик, ещё не оглох, не оглох». Но в ушах всё звенело.

Я долго ждал, потом начал считать. Сбивался со счёта, снова считал. Отсчитаю, заложу палец и опять считаю. А чужой дяденька всё не появлялся. Хорошо, хоть часы ему не достались.

Наконец решил: хватит ждать, и снова потянул за собой Олю. А она, как и раньше, упирается и ни с места. Я поднял её и понёс.

— Хочу к маме, хочу к маме! — кричала Оля.

Она давилась криком. Её личико опухло от слёз. Я нёс её не останавливаясь.

Мне казалось, что мы ушли далеко от того места, где меня обманул дяденька. У меня онемели руки. Тогда я опустил Олю и даже рассердился на неё. Я ей: «Иди», а она всё кричит: «Домой!» Как мне втолковать ей, что у нас больше нет дома? Только одни папины часы остались. Но почему одни часы? И папа есть у нас! Зенитчики отгонят фашистов, и мы найдём папу или папа найдёт нас.

Оля присела на корточки, но я её потянул за собой. Тяжело было идти по вязкому, расплавленному асфальту. То и дело я на что-то натыкался; под ноги попадали какие-то обгоревшие брёвна, доски поваленных заборов и сбитые телефонные столбы. Я осторожно обходил раскалённые листы кровельного железа.

Впервые в жизни у меня были при себе часы,



но я никак не мог сообразить, который час — так было светло от ракет, от пожаров, от зарева.

Как и днём, гудели самолёты. И только над головой в тёмной высоте неба скрещивались и расходились лучи прожекторов.

Мимо нас пробегали люди. Искали бомбоубежище, исчезали в подъездах домов, выпрыгивали на тротуар прямо из окон первых этажей, окликали и догоняли друг друга.

Кто-то кричал надрываясь.

Пробегут — и опять никого! Потом снова появляются люди, отбрасывая от себя то длинные, то короткие тени.

Мне стало так страшно! Что будет с нами, куда идём, кому нужны? Папа нас защищает, а где он, папа? Должно быть, стоит на посту, а может быть, дерётся с врагами.

Только вспомнил про папу, как какая-то женщина толкнула меня, чуть не сбив с ног...

...Бегут пожарные. Один из них, с красным лицом, одной рукой приподнял Олю, другой ухватил меня и перенёс через горевшие, наваленные друг на друга брёвна, должно быть приготовленные для постройки. Он поставил нас наземь, приложил по-военному руку к своей блестящей каске и исчез.

Я старался ни о чём больше не думать и не смотреть по сторонам: и так нос разбил и Олю чуть не уронил. Хорошо, что дядька в шубе освободил меня от узла. С узлом и с Олей мне бы не справиться.

Вдруг я почувствовал, что ноги подкашиваются, что больше не могу тащить Олю. Болели локти, подгибались колени и ныла спина. Никогда не думал, что сестрёнка такая тяжёлая. Иду и плачу.

Тогда я решил схитрить: отойду на несколько

шагов вперёд и позову Олю. Хотя и упрямая девчонка, а не захочет же остаться одна и побежит ко мне. Когда в догонялки играли, как она бегала! Вот и выйдем мы, как все, к Волге.

Так и сделал: отошёл на несколько шагов вперёд, обернулся и позвал Олю. Снова шагнул и опять позвал. Я ждал — сейчас она пойдёт за мной.

И вдруг опять загудели самолёты. Совсем рядом вспыхнула ракета.

— Оля, ложись! — крикнул я что есть силы и сам прижался к стене.

Фашисты отбомбили, и в воздухе ещё сильнее запахло горелым.

Я посмотрел назад и обомлел. Тот же забор, всё на месте, только нет моей Оли.

Где же она?

— Оля! Оля!

Сколько раз папа и мама говорили мне, чтобы я не оставлял Олю!

Я всё облазил кругом. Куда же она делась? Ведь самолёты бомбили не здесь. Не подхватили же её фашистские лётчики? Я хорошо знал, был твёрдо уверен, что с Олей ничего не может случиться. Её не могут убить, её не посмеют тронуть никакие осколки. Ведь она такая маленькая.

Я решил больше не звать её, а прислушаться. Ну что стоит тебе, Оля, заплакать?

Прислушался и услышал, как шипит огонь и, пылая, потрескивают балки; что-то гроыхнуло и рухнуло, а после этого мне даже почудилось, что совсем рядом застрекотал кузнецик.

«А вдруг если не Олю, так пожарного встречу, он мне и поможет», — подумал я и оглянулся.

Пожарного не было, и я остановил мужчину,

который вялой походкой проходил мимо. Он весь был в известке.

— Дяденька! Вы тут маленькую девочку не видели?

Тот с удивлением посмотрел на меня.

— Вот так на спине шаль повязана,— показал я ему.

А он только пожал плечами и пошёл дальше, ничего не ответив.

И тогда я вспомнил о бинокле. Не сны бы им разглядывать, а сейчас бы посмотреть кругом.

Я стал разглядывать дом с обвалившейся стеной. Лестница. Мне почему-то почудилось, что Оленька, закутанная в шаль, стоит на ступеньках. Я взобрался на лестницу, всю заваленную битой штукатуркой и кирпичом, но сестры там не было.

«А может, к дому затопала? Недаром всё время домой просилась»,— подумал я.

Из-под моих ног выпорхнула птичка. Коснувшись крылом моей щеки, она села мне на плечо, но тут же опять взмахнула крыльями и заметалась.

Грачи, голуби и другие птицы стали совсем как ручные: не боялись людей. А может, обезумели? То садились на карнизы, то стремительно носились в горячем воздухе, не зная, куда податься...

А я думал: «Вот глупенькие! Зачем дожидаться осени? Поскорей бы умчались в жаркие страны».

Я шёл и видел людей, неподвижно лежавших на тротуарах и на мостовой. У них были открыты глаза, но они уже ничего не видели.

Я знал, что люди умирают, но всё никак не мог привыкнуть к тому, что умерла моя мама.

И ноги сами понесли меня обратно к нашему посёлку.

Ракеты освещали небо. Одни гасли, другие взлетали, повисали в раскалённом воздухе...

Сколько воронок!

За каменной оградой я увидел хорошо знакомый мне дом. Сюда отводила меня мама в детский сад. По этой же дороге с тётёй Тосей мы ходили гулять на берег Волги. В этом доме доктор, в белом халате, в смешной белой шапочке, делал нам уколы, чтобы мы никогда ничем не болели.

Я остановился, чтобы перевести дух. Дом, разбитый и обгоревший, смотрел на меня пустыми окнами.

А ещё через несколько минут я подошёл к тому месту, где ещё утром мы все вместе жили.

Всё сгорело дотла. Только ещё дымился и дотлевал мусор там, где был наш сарайчик.

Мама лежала на том же месте. Я лёг рядом на комья земли.

Как хорошо было нам всем вместе! Папа посадил яблоньки и недавно, несмотря на войну, выкрасил ставни и приделал к ним новые крючки.

Я лежал рядом с мамой и разговаривал с ней, гладил её уже похолодевшую руку, целовал и обещал разыскать Олю и никогда больше с ней не расставаться.

Когда ракеты разливали свой яркий свет, мамино лицо становилось совсем белым. Мне даже показалось, что зашевелились её губы, и слышалось, что и мама будто говорит со мной, убаюкивает... Так я заснул около мамы.

Должно быть, опять над головой рокотали и завывали немецкие самолёты. Но я так умо-

рился, что ничего больше не слышал. А когда очнулся, опять увидел убитую маму и понял, что остался совсем, совсем один.

Глава третья Я НЕ ОДИН

Было уже светло, но так же дымно, и по-прежнему завывали фашистские самолёты. При солнце словно бы огни пожаров потускнели, но стало ещё душней, ещё угарней.

Неунимавшийся ветер закручивал пыль, смешанную с горячим пеплом, перекидывал пламя с одного здания на другое.

Подъехала машина. Из неё выскочили люди, по-разному одетые, но все в металлических касках. Они начали растаскивать горящую крышу углового дома.

Я и не заметил, как они появились на соседнем дворе, там врылась в землю неразорвавшаяся бомба, выставив наружу свой ребристый хвост.

Вначале все они обступили бомбу, потом разошлись. У бомбы остался только один человек. Кто-то крикнул мне, чтобы я укрылся в щели. Но я остался на своём месте. Вскоре человек, возившийся у бомбы, весело закричал:

— Не ранит, не убьёт, а на шихту пойдёт!

Вокруг него собрались любопытные.

А потом и меня заметили, подошли и начали расспрашивать, где отец, кто жив из родных, в каком я классе...

Некоторые спросят, только соберусь ответить, а они уже уходят; видно было, что и так всё им понятно — не один я такой.

«А зачем же тогда спрашивать?» — думал я с досадой.

Чуть затихал гул самолётов, жители вылезали из щелей и подвалов. Среди них я узнавал и наших соседей; все они выглядели какими-то почерневшими, осунувшимися, как после болезни.

Пепел и сажа летели, как мошकारа.

Только дворник наш, тётя Анюта, была такая же, как всегда, в белом и, как мне показалось, чистом фартуке.

Я не просил, она сама принесла мне жестянку с водой и кусок сахара. Она ни о чём не спрашивала, но я понимал, что она, оглядываясь по сторонам, ищет Олю.

Я сам хотел рассказать тёте Анюте, что потерял Олю, но промолчал, чувствовал: начну говорить об этом — зальюсь слезами. А тётя Анюта, отойдя в сторону, шептала про меня высокой девушке с забинтованной рукой:

— Хорошо люди жили. Он вот — весь в мать, а сестрёнка — чистый отец. Ну, думала я, счастливые. Вот тебе и счастье!

Высокая девушка подошла ко мне, вытерла мои слёзы и протянула здоровую руку:

— Меня зовут Шура.

Так мы и познакомились.

Шура не выпускала моей руки. Точно так я держал Олю, когда боялся, что она от меня убежит. Рука у Шуры была большая, шершавая. Должно быть, Шура очень сильная. И понял я, что хоть она и ни о чём меня не спрашивала, а думает обо мне и о моей маме.

Тётя Анюта приподняла с земли мамину голову, поправила ей волосы и стряхнула землю с маминого платья.

Я увидел, как встрепенулись и ожили складки

платья. Может быть, мама вскочит сейчас так же стремительно, как вскакивала, когда ей казалось, что проспала...

Женщины вместе с тётей Анютой подняли маму и понесли к неглубокой воронке. Тётя Анюта позвала меня. Шура подошла вместе со мной.

У мамы были закрыты глаза. Я поцеловал маму в сжатые губы.

Шура по-прежнему не выпускала моей руки.

Когда опять над нами нудно завывали фашисты, никто из женщин не побежал к щелям. Они кидали в воронку горсти земли.

Земля тонким слоем покрыла маму.

Шура ещё крепче сжала мою руку, и мы пошли.

Тётя Анюта догнала нас и дала мне кепочку. Я взял её в руку. Шура молчала. Она шла большими шагами. А мне так хотелось оглянуться!

Должно быть, тётя Анюта смотрит нам вслед. Но как мог я оглянуться, когда и так еле-еле поспевал за Шурой.

«Мужчины не плачут, мужчины не плачут», — повторял я папины слова, а у самого глаза были полны слёз...

А потом я испугался: совсем забыл про Олю. Вытер слёзы и снова стал смотреть по сторонам на дымящиеся развалины.

В одном доме рухнула стена, обнажив комнаты, оставленные людьми: сундук с поднятой крышкой, перевёрнутые стулья, кровати, медный таз. А гардероб упал набок, поблёскивая осколком зеркала.

Совсем рядом застучал зенитный пулемёт, но я даже не посмотрел в небо.

Когда мы отошли за несколько кварталов,



Шура пошла медленней, взглянула на меня и спросила:

— А ты слона видел?

— Какого слона?

— Из зоологического сада слон удрал. Я его ночью видела, совсем рядом пробежал.

«А я не видел»,— подумал я. Мне очень захотелось увидеть слона, но я не стал больше спрашивать о нём Шуру. Мне хотелось узнать, кто же она, Шура.

— Тётя Шура, а ты не докторица?

— Вот и не угадал. Была я наладчицей на Тракторном. Если поучусь, инженером стану. А пока меня профессором по членским взносам называют в райкоме комсомола. А со вчерашнего дня вот таких, как ты, собираю. Только не все такие любопытные.

— Помоги мне Олю найти!

— А где же ты её потерял?

— Там, где горит.— Я показал рукой.

— Сейчас всюду горит. А какая она, твоя Оля?

— Маленькая, бровки беленькие.

— Может быть, и найдём, если она маленькая да беленькая,— сказала Шура и добавила: — Вместе вас и отправлю.

— А если папа придёт?

— Сейчас не придёт. Папа твой за Мечеткой воюет, фашистов в Сталинград не пускает.

— А мы Олю найдём? — снова спросил я Шуру.

На этот раз она ничего не ответила.

Мы шли по улице, где дома ещё были целые, с трубами на крышах и занавесками на окнах.

У одного из них Шура остановилась:

— Вот здесь, в подвале, много детей. Смотри лучше, может, и Оля здесь.

Мы спустились в подвал, освещённый керосиновой лампой. На ящиках и матрацах я увидел много малышей, будто снова попал в детский сад. Кто-то плакал, но как-то неохотно. Нет, это не Оля. Уж если Оля заплачет, так вовсю. Я осмелел и громко позвал:

— Оля! Оля!

Мне показалось, что кто-то отозвался из темноты, но это только эхо повторило мой голос.

— Сестрёнку свою потерял. Разве теперь найдёшь! — со вздохом произнесла какая-то женщина.

— Рая есть, и Женечка, а про Олю не слышали, — услышал я от другой.

Шура начала выводить детей из подвала. Она стояла у выхода и всех пересчитывала. А потом позвала меня:

— Ну, а ты у нас семнадцатый. Пошли!

Мы вышли на улицу, спускавшуюся к Волге. Вереницей тянулись старые да малые; тащили узлы, вёдра, толкали тележки...

Одна женщина вела за руки двух девочек в одинаковых клетчатых платьях. А сзади за юбку матери крепко ухватился мальчик. Одна из девочек в очках. Вот они все пригнулись. Вот они поползли. Снова пошли.

Спустились к берегу. К тётке Шуре прижимался мальчуган... Он всё стонал, прихрамывая. А со мной рядом шла девочка с котомкой за плечами. И у них, как и у меня, больше нет мамы...

Весь берег был заполнен людьми, ждавшими посадки на катера, баржи, лодки и речные трамвайчики.

Мы остановились у самой воды, около двух пальм в больших круглых кадках.

— Что за курортник их сюда приволок? — спросила Шура.

Пока она разговаривала с людьми, отдававшими распоряжения, я старался как можно лучше всё разглядеть.

Из воды торчали какие-то трубы, мачты, обломки перевёрнутой и затонувшей баржи...

Прибрежные кручи были изрыты щелями, как норками. И сейчас женщины копали их руками, укрывая там детей и узлы. Кто ползёт, кого несут на руках...

Многие подходили к Волге, набирали в ладони воду, мочили голову, обмывали лицо.

Какой-то старик упирался. Он не хотел идти к трапу, где шла посадка на речной трамвайчик. Его тянула за собой внучка.

— Тут моя старуха схоронена. Не оставляю её, что вы со мной делаете?! Я здесь останусь! — кричал старик.

А внучка всё тянула его за собой.

— Вас всех отправят этим рейсом. И ты, Гена, поедешь, — сказала мне Шура. — Может быть, и Оля уже там. Всех детей туда отправим.

Я посмотрел на далёкий пологий берег. Где я там буду искать Олю? Здесь отец, здесь Оля, здесь мама лежит в воронке. И наконец, здесь тётя Шура. И я сказал ей:

— Не хочу уезжать. Мне нельзя. Я обещал маме, что буду искать Олю. А мы её совсем не искали.

Шура слушала меня молча. И тогда я вспомнил о часах. Я вытащил их из-за пазухи, развернул тряпочку и протянул их Шуре:

— Это часы моего отца. Тут всё написано. Тётя Шура, не отправляйте меня. Я хочу с вами. Я буду вашим адъютантом.

— Адъютантом? — переспросила Шура и щёлкнула крышкой часов. — Так твой отец сталевар Соколов?! Что же мне с тобой делать? А часы спрячь. Вот узнаем время, тогда заведём.

Я спрятал часы, и мы пошли к трапу.

В это время кто-то позвал Шуру.

А я, как по тревоге, юркнул в ближайшую щель и затаился.

«Скорей бы отвалил трамвайчик», — думал я, а сам не терял из виду Шуру.

Она и ещё какие-то взрослые помогали малышам взойти на катер.

Вот на таком же речном трамвайчике ездили мы с отцом на пляж...

Когда же теперь вернутся в Сталинград те, кого увозит сейчас трамвайчик, вымазанный жёлтой глиной под цвет волжского берега, увитый запылёнными зелёными ветками?

Капитан наклонился и что-то произнёс в трубочку.

Трамвайчик вздрогнул. Матросы убрали трап.

Тогда я вылез из своего укрытия и как ни в чём не бывало подбежал к Шуре и стал рядом. А она будто и не заметила моего исчезновения, достала платочек, замахала всем, а капитану отдельно. И он, верно, хорошо знал Шуру: смотрел на неё и тоже махал рукой.

На верхней палубе я увидел старика, не хотевшего уезжать из Сталинграда. Он ухватился двумя руками за барьер. И уже не кричал, а, должно быть, что-то шептал. Рядом с ним стояла внучка.

Шура схватила меня за руку и удивлённо спросила:

— Ты ещё здесь?

Я ничего не ответил.

Мы пошли. Только сделали несколько шагов, как откуда-то вынырнули чёрные самолёты со свастикой на хвостах. Они летели совсем низко вдоль берега, а потом, изменив курс, полетели туда, где волнам наперерез шёл в сторону Красной слободы наш трамвайчик.

Фашисты пикировали один за другим. Огромные столбы воды заслоняли от нас трамвайчик. А потом мы увидели: он всё держится на бурлящей воде. Капитан ведёт его среди разрывов.

— Мой отец, — сказала Шура.

Когда чернокрылые перестали кружить над водой и ушли за новыми бомбами, я посмотрел на Шуру. Её лицо перепачкано копотью. Разорванная в нескольких местах юбка — в пепле и саже. Бинт на руке пообтёрся, покрылся кирпичной пылью. И брови опалены. Она смотрела не на реку, а себе под ноги, точно спала с открытыми глазами.

Глава четвёртая СРЕДИ РАЗВАЛИН

Где только мы не искали Олю! Шура выполняла, как тогда говорили, «особое задание». В горящем городе, в подвалах и блиндажах, она, так же как и другие комсомолки, разыскивала детей, оставшихся без родных.

С набережной Волги мы пробрались в центр города.

Вначале Шура молчала, а потом начала почём зря ругать фашистов. Как только она их не называла! И окаянными, и душегубами, и



мазуриками. Мне было жаль, что до фашистских лётчиков, туда, в небо, не долетают эти слова и никто их сейчас не слышит, кроме меня.

Мы прошли мимо памятника нашему земляку Герою Советского Союза лётчику Виктору Хользунову. Он стоял на высоком постаменте во весь рост.

Меня всегда тянуло к этому памятнику. Я любил смотреть в лицо лётчика, разглядывать его шлем и большую перчатку, которую комдив держал в руке.

Эх! Как бы мстил он врагам за всё!

Мы шли через скверы площади Павших Борцов, обходя огромные воронки, пахнувшие гарью. Вышли к зданию городского театра. У входа, по обе стороны — два льва с пышными каменным гривами. В этом театре я никогда не был, и мне очень хотелось подняться по широким ступеням парадной лестницы, но пришлось следовать за Шурой вниз — в бомбоубежище.

Бомбоубежище было заполнено детьми — и такими, как я, и такими, как Оля; были здесь и постарше, с пионерскими галстуками, и совсем крохотные...

Я хотел сразу же осмотреть все углы, но Шура остановила меня, усадила и через несколько минут принесла полную до краёв тарелку гречневой каши.

Я ел, а сам прислушивался к голосам. Здесь плакали и смеялись, и опять я услышал разговор о слоне, о том, как он поднял хоботом валявшуюся на улице куклу, как он бродил по набережной и сопротивлялся, когда его хотели погрузить на паром. Его привязали к грузовику и потянули на паром, но он перевернул машину и снова убежал в город, ломая на своём пути заборы и палисадники.

Доев кашу, я начал обход; разглядывал спящих в креслах, на опрокинутом шкафу...

Девчонки спали, обняв своих кукол, а какой-то мальчуган прижал к себе деревянный паровоз, колёсами к щеке.

Но ни среди тех, кто играл, убаюкивая кукол, ни среди тех, кто тревожно кричал во сне, не было Оли.

А Шура уже торопила меня. Она взяла подмышку несколько свёртков и мне дала такие же.

На лестнице мы встретили пожилого человека с густой бородой, расчёсанной на две стороны. Он быстро поднимался вверх. На его груди, на белой парусиновой косоворотке, я увидел орден Красного Знамени и какую-то неизвестную мне медаль. Шура поздоровалась с ним и даже меня представила:

— Гена, мой адъютант.

Бородач остановился, взглянул на меня, но ничего не сказал, а только ласково потрепал по плечу.

Потом Шура рассказала мне об этом человеке, и я пожалел, что так скоро мы с ним расстались.

В гражданскую войну он был красным партизаном. Царицын защищал, а сейчас, так же как и Шура, выполняет «особое задание». А медаль свою на ленте получил ещё в прошлую войну России с Германией.

— Старый, а лихой,— сказала про него Шура.

Вот такие люди занимались тогда нами, детьми!

Свёртки вначале показались мне очень лёгкими, но потом как-то потяжелели.

Мы шли вдоль трамвайной линии. Я смотрел

на обгоревшие остовы трамвайных вагонов. Как весело позванивали они совсем недавно!

— Ну, вот мы и дома,— сказала Шура и тут же добавила: — Дом грузчика.

Мы опять спустились в подвал. Здесь Шуру ждали. Из наших рук девушки в белых косынках выхватили свёртки.

— Вата и медикаменты,— объяснила Шура.

В подвале было светло. У стен стояли маленькие кровати. На полу даже ковёр, на котором раскиданы игрушки.

Только потом я узнал, как всё это попало в подвал. На втором этаже Дома грузчика помещался детский сад. Я не раз потом, выполняя разные поручения, притаскивал оттуда вниз и табуретки и горшки с цветами.

А в самом подвале до бомбёжки размещался кондитерский цех, и сладкий ванильный запах напоминал о многих вкусных вещах: ватрушках, слоёных пирогах. Мама часто пекла их, когда ещё не было войны, и даже теперь собиралась испечь к Олиному дню рождения.

Но и сейчас здесь каждое утро повариха кормила нас горячими лепёшками. Лепёшки пекли на дорогу и тем, кого отправляли за Волгу.

Одних отправляли, других приводили.

У Шуры было много помощниц. Одну из них, Женю, я даже вначале принял за девочку, которую тоже должны были отправить на левый берег. Худенькая, с косичками, она сидела в углу пригорюнившись.

— Что это с тобой? — прикрикнула на неё Шура.

— Они же так страдают, дети, они ведь ещё жизни не видели! — ответила она.

— Да ты, Женя, лучше спой,— попросила её Шура.

Я узнал, что Женя училась в восьмом классе. Все восхищались её чистым голосом и говорили, что ей надо будет поступить в консерваторию. А за то, что она знала много песен и никогда не уставала их петь, прозвали её Женей-патефончиком.

Проснёшься утром — она про Степана Разина поёт. И засыпали мы под её колыбельную песню:

Но отец твой старый воин,
Закалён в бою;
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Несколько дней прожил я в Доме грузчика, вернее, приходил сюда спать на отведённый мне матрац.

Когда Шура оставляла меня в подвале, я должен был забавлять малышей... И я рисовал им маленьких человечков и делал из бумаги лодочки и треугольные шляпы, которые называл касками.

Взрослые часто спрашивали у меня, который час. Шура научила меня обращаться с часами. Я их сам заводил и переставлял стрелки. Особенно же часто спрашивали время, когда к нам привезли новорождённых.

Бомба попала в родильный дом. Та часть здания, где находились новорождённые, уцелела. Малышам было всего по несколько дней. Когда их привезли, Шура заплакала. А повариха долго мыла руки. Новорождённых было восемь. Их уложили в ящики и стали ждать, когда же с той стороны привезут молоко. За молоком ушёл катер... Вот тогда-то все и спрашивали у меня, который час.

Мне тоже очень хотелось, чтобы как можно

скорей привезли молоко. Но как долго тянулось время!

Молоко привёз милиционер. Он передал поварихе маленькие бутылочки, и она стала учить девочек, как кормить малюток. Бутылочки согревали в тазу с тёплой водой. И милиционер, так же как и я, издали смотрел на то, как всё это происходит.

Ночью девушки вынесли ящички с детьми из подвала.

Шура шла первой. Она указывала путь. «Только бы не уронили», — думал я.

Меня оставили в подвале, а мне не спалось. Я ждал, когда вернутся девушки. Я лежал с открытыми глазами и думал: «Я-то хоть знал свою маму, а эти?»

На тот берег малышей переправили благополучно.

Одни заботливые руки передали их в другие. И там их тоже ждали бутылочки с тёплым молоком. И дальше их несли и везли так же осторожно.

Когда девушки вернулись в подвал, я не спал. Шура подошла ко мне, погладила по стриженной голове, велела сейчас же заснуть и сказала:

— Пора, пора и тебе за Волгу!

Я закрыл глаза, но ещё долго не спал. А когда проснулся, не узнал Шуру. На ней вместо обгорелой юбки, чиненной великое множество раз, были брюки. Они были ей чуть коротки, но зато совершенно новые. И новая чёрная гимнастёрка, расстёгнутая у ворота. Только рукава такие, как будто их кто остриг. Обожжённая рука Шуры была перевязана белым-пребелым бинтом.

Девушки окружили Шуру, поздравляли с обновкой, называли ремесленником. И действи-

тельно, она раздобыла себе форму ученика ремесленного училища, должно быть специально сшитую на рослого парня.

— Я за тобой пришла,— сказала мне Шура.

«Значит, за Волгу»,— решил я и растерялся.

— В баню, в баню, трубочист! — Шура улыбнулась. Видно, её рассмешил мой растерянный вид. А у меня сразу же отлегло от сердца.— У нас, девочки, на Сурской баня воскресла,— продолжала она, обращаясь ко всем.— Я вначале подумала — баня горит, а оказывается, это из котельной трубы, как полагается, дым идёт. Водопроводчики постарались. Фашисты к городу рвутся, а мы себе паримся.

Первый раз в жизни я попал в настоящую баню. Отец мылся всегда на заводе под душем и в бане любил попариться, а нам с Олей мама устраивала баню на кухне: нальёт в таз горячей воды и начнёт тереть-намыливать с головы до ног.

Эта настоящая каменная баня была двухэтажной. Но теперь мылись только в подвальном помещении.

Я перепутал краны и обжёг себе ладонь горячей водой. От воды на ногах ожили царапины, которых я раньше не замечал. Но всё это не омрачало моего восторга. Я наслаждался водой.

Добродушный дяденька с ямочкой на подбородке намылил мне спину. Он тёр её и тёр, а сам всё приговаривал:

— Люблю старых моряков. Вся спина в ракушках!

Он вылил мне на спину шайку прохладной воды, шлёпнул и сказал на прощание:

— Мыл — не устал, вымыл — не узнал.

Шура ждала меня. Когда я вышел, она крикнула:

— Ах ты мой красненький! Только сейчас и увидела, что брови опалил.

Не успела Шура это сказать, как заговорило радио: шла передача из Москвы. Диктор таким знакомым голосом передавал утреннюю сводку Совинформбюро о том, что в течение ночи наши войска вели бои под Сталинградом, под Новороссийском и неведомым мне тогда Моздоком...

Мы тронулись в путь только после того, как прослушали всю сводку.

— Жаль, не передали ещё одно важное сообщение: про нашу баню,— сказала Шура и засмеялась.— Что удивляешься? Неплохо бы Адольфа позлить! Гитлер хвастал: двадцать пятого июня Сталинград захватит. На дворе — сентябрь, и сын сталевара Геннадий Соколов добела отмылся в сталинградской бане.

Шура всегда мне всё рассказывала. Я знал, что в степи за Тракторным рабочие-ополченцы приняли бой и не пустили фашистов; что в город прибывают всё новые и новые полки, а главное, хорошо запомнил: «Сталинград не будет сдан!»

Шура каждый день получала нашу «сталинградочку» — «Сталинградскую правду». Газета стала совсем маленькой.

Когда в редкие часы затишья женщины вылезали из подвалов и щелей и на двух кирпичах готовили пищу, Шура подсаживалась к нам, рассказывала об эвакуации, доставала «сталинградочку» и с гордостью говорила:

— Здесь напечатана. Самая свежая!

В городе всё ещё горели дома. Одни догорали, другие вспыхивали. Каждый день фаши-

стские лётчики зависали над Волгой, бомбили переправы...

К бомбёжкам прибавился вначале артиллерийский, а потом и миномётный обстрелы. Как только снаряды или мины начинали рваться слишком близко, мы падали на землю и, переждав, продолжали свой путь ползком...

Теперь уже редко возвращались мы с Шурой в Дом грузчика. Доберёмся к ночи до какого-нибудь блиндажа, дамбы или туннеля, занятого жителями, попросим потесниться, а уж если нельзя, устроимся у входа и спим не то полусидя, не то полулёжа. А чуть развиднеется, снова лазим по укрытиям и развалинам в поисках малышей.

Шура отводила малышей на сборные пункты, а совсем маленьких несла на руках.

В горящие здания Шура меня не пускала: сама умело обходила огонь, а когда надо, ползла, раздвигала чем попадая раскалённые головешки... Мы снова пропахли гарью и почернели.

Шура первая спускалась в подвалы, прыгала через завалы. На перекрёстках улиц ловко перелезала через ежи, сделанные из обрубков рельсов. А иной раз подхватит меня, перенесёт через трудное место или перетаскивает за баррикаду, сооружённую из трамвайных рельсов, вагонных колёс, кроватей, диванов и телефонных столбов. Зато наступала и моя очередь быть первым, это когда надо было пролезть в какой-нибудь узкий пролом в стене или заборе.

Однажды в большом полуразрушенном доме взрывной волной завалило выход из подвала, в котором спасались жители соседних кварталов. Шура убежала, оставив меня одного. Из подвала доносились приглушённые стоны и крики. Над домом клубилось облако известковой пыли.

Вскоре Шура вернулась и не одна, а с целой командой дружинников — бойцов МПВО. Старшей была невысокая девушка, повязанная красной косынкой. Шура называла её Лидой. Все ждали, что скажет пожилой дяденька, который с ломом в руке обошёл здание кругом.

— Ну как? — спросила его Лида.

А дяденька только вздохнул и лёг на землю у стены и потрогал её ладонью. Вслед за ним и другие дружинники дотронулись до стены. Все они, будто врачи, ощупывали и выслушивали тяжелобольного...

Потом дяденька долго долбил стену. Сделает несколько ударов, остановится. Чуть уляжется красная кирпичная пыль — снова бьёт.

Все молча следили за ним. Наконец дяденька отбросил лом в сторону. Пробитая щель оказалась очень узкой, но голоса из подвала стали слышней. Среди них я услышал и детские...

«А вдруг там Оля? — подумал я, посмотрел на Шуру, но ничего не сказал.

Дружинники не спускали глаз с тёмной дыры, пробитой в стене.

— Я полезу,— сказала Лида и поправила сбившуюся набок косынку.

— Это тебе не в Волгу нырять. Как ни тонка, а застрянешь,— возразил ей дяденька и тут же внимательно смерил меня взглядом.

Я сразу всё понял.

— Разреши мне,— сказал я Шуре.

— Валяй! — ответил за неё дяденька и почему-то спросил: — А не неженка?

Я встал перед ним навтыжку. Может, и был недавно неженкой, но лезть кому-то надо.

Шура не протестовала.

Меня обвязали толстой верёвкой.

Дяденька объяснил, что я должен делать, и,

не теряя времени, посадил, или, вернее, всунул в щель.

Мешали локти. Я вытянулся. Лезть было трудно. Не рассчитал движения и сбил колени. Шарил рукой. Верёвка натянулась и сразу же отпустила меня. Кирпичная пыль забилась в глаза. Они заслезились, а тут, к моей досаде, что-то попало и в нос...

Наконец я почувствовал, что щель кончилась. Верёвка опять ослабла, и я словно куда-то провалился, повис в пустоте. Но вот опустил ногу. С радостью нащупал пол. Достал из кармана переломанную пополам свечку и коробок спичек.

На неровный тусклый огонёк ползли измученные и искалеченные люди. Некоторые тяжело дышали. Кто-то простонал:

— Как долго!

И мне здесь не хватало воздуха.

Я сказал, что скоро всех поднимут.

Сделал шаг вперёд и заметил, что верёвка снова натянулась.

Возле неподвижно лежавшей женщины копошился мальчик, маленький, как Оля. Он не плакал и не кричал, а только хрипел. Я взял его на руки. И вот мы у стены под щелью.

Дяденька подал знак, чтобы я лез обратно. Я упёрся ногой в стенку и стал осторожно подталкивать мальчика в щель. Когда ботиночки коснулись моей груди, я понял, что наверху его уже схватили. Вслед за ним и я вылез.

Как обрадовался я свежему воздуху! Открыл глаза и зажмурился от яркого дневного света.

И вот я уже на ногах. Кружится голова.

Хотелось хоть глотком воды очистить рот и зубы от сухой пыли. Я напился, а потом рассказал о том, что видел в подвале.

Меня ещё раз спускали в подвал. Я оставил





там фонарь и бидон с водой. Потом щель расширили, поставили подпорку. И теперь в неё «нырнула» худенькая Лида.

Я никого не обманул, когда сказал в подвале, что всех поднимут наверх. Всем спасённым первым делом давали воду. Они едва держались на ногах. Некоторых унесли на носилках...

И вот моя рука снова в Шуриной сильной, большой руке. Она крепко держит меня. Сколько «особых заданий» получала она каждый день! Всегда кого-то разыскивала, передавала приказы, со многими людьми говорила совсем тихо, вполголоса.

Шуру пропускали даже в штаб, помещавшийся глубоко под землёй.

Как-то раз, только вышла она из штаба и угостила меня конфетой, снова завывли моторы германских самолётов. Я уже знал, что сейчас оторвутся от них чёрные точки...

К этому трудно привыкнуть. Хотелось хоть чем-нибудь прикрыть голову, даже ладонью.

Шура прыгнула в окоп и протянула мне руку. Смотрю — рядом с Шурой стоит седая женщина в мужском пиджаке. Она раньше нас в окопе укрылась. Говорит, что искала питательный пункт: никак за ним не угнаться — с места на место переводят.

В это время Шура высунулась из окопа и кому-то закричала:

— Сюда! Сюда!

И я увидел — бежит босая женщина с растрёпанными волосами, прижимает к себе ребёнка и не знает, где ей укрыться. Она обрадовалась голосу Шуры и подбежала к окопу. Шура взяла девочку. Женщина прыгнула и, увидев пожилую женщину, ахнула:

— Мамочка! Родная, я жива!

Мы даже про бомбёжку забыли. А седая женщина точно захлебнулась, хочет что-то сказать — и не может. А потом заплакала и спросила:

— Доченька, Варенька, как же ты осталась жива?! А Любочка как?

Тогда Шура передала ей Любочку, завернутую в обгоревшую кружевную накидку.

Варя рассказала нам свою историю. Выхала она на пароходе, когда город ещё был цел. Пароход шёл вверх по Волге. Недалеко ушёл от Сталинграда. На него налетели гитлеровские лётчики. Они потопили пароход и из пулемётов расстреливали людей. Погибли и женщины и дети. Только немногие спаслись чудом. Кормились сырыми мальками. Долго скитались, а вернулись в Сталинград — никого из родных не могли разыскать...

Зато теперь они были счастливы: бабушка, дочка и внучка Любочка.

Я был очень рад за них. Ведь встречаются же родные!

Шура тут же стала уговаривать наших новых знакомых уехать с Любочкой на левый берег и объяснила, какой дорогой лучше выйти к переправе.

Мы первыми оставили окоп.

Теперь уже Шура больше не говорила, что мне пора за Волгу. А если кто при Шуре спрашивал, сколько мне лет, она отвечала неопределённо: «Столько лет, сколько и зим». Без неё я не стесняясь прибавлял себе годик, а то и два и три, потому что никто не собирал мальчишек, которые были на несколько лет старше меня. Эти ребята возили с Волги бочки с водой, хлеб и сухари из пекарни, разносили листовки и приказы. Они, должно быть, чувствовали себя со-

всем большими, выполняя то, что раньше делали только взрослые.

Шура редко отпускала меня от себя. Если же я не сразу попадался ей на глаза, она сердилась: «Куда тебя черти носят?»

Как-то мы сидели рядом в столовой для детей, помещавшейся среди развалин. Сюда приходили дети из щелей и подвалов; больным же и раненым обед доставлялся «на дом» — в те щели и подвалы, где они лежали.

Мы уселись на камнях возле глубокой ямы. Миски со щами держали на коленях. В одной руке у меня была горбушка хлеба, а в другой — ложка. Только я поднёс ложку ко рту, как она ударила меня по зубам. Это где-то совсем близко разорвался снаряд. Я покачнулся, но всё же удержался на камне, а миску выронил. Шура миску удержала, но всё равно и её щи перемешались с землёй. А мне что-то в глаз попало. Я поднял миску, ну, думаю, пойдём за добавкой, а соринку потом вытащу. Только я так подумал, как миска вылетела из рук, меня обдало волной жаркого воздуха и подбросило.

Когда я очнулся, первым делом попробовал шевельнуть рукой. Казалось, меня кто связал или навалился сверху. Я втянул голову и только тогда сообразил, что не могу открыть глаза. Темно. Прошло ещё какое-то время. Я осмелел и разлепил веки. Гляжу — рядом со мной земля колышется, а затем и Шура показалась. Вытряхивает землю из-за воротника гимнастёрки. Я посмотрел на Шуру. Её лицо было совсем серым. Вот и пообедали!

Мы вылезли наверх. Я ещё плохо соображал, но всё же услышал, что кто-то плачет.

Шура, как всегда, протянула мне руку, но я сказал:

— Слышишь? Оля!

Шура прислушалась и побежала. Я же не мог бежать: ноги меня не слушались. Пока я ковылял, Шура уже добежала. Она наклонилась над окровавленной девочкой, лежавшей на земле.

— Мама! Мама! — кричала девочка.

Нет, это не Оля. Сестрёнка моя совсем беленькая, а у этой девочки тёмные волосы.

Я сказал:

— Спаси её.

Шура подняла девочку и понесла. Я всё время отставал. Шура спешила. Она донесла девочку до самой поликлиники.

Поликлиника тоже размещалась среди развалин. Больные и раненые сидели на камнях, на кирпичных грудах, ожидая своей очереди.

Шура передала девочку невысокой женщине в белом халате.

Когда я подошёл, Шура показала на камень:

— Садись, я и для тебя очередь заняла.

И сама села рядом. Я и не заметил, как в её руке оказался маленький кусочек зеркала. Никогда не смотрелась, а теперь, вся напудренная серой пылью, не сводила с себя глаз. Она повернулась ко мне, широко раскрыв рот.

— Вот видишь, передние выбило. А я всё хвасталась, что зубы никогда не болели, — сказала она и пригорюнилась. А потом будто опомнилась: — О чем это я? Тут головы летят, а я о зубах толкую, дура беззубая!

Когда подошла моя очередь, я спросил про девочку. Мне сказали, что её отвезут в Красную слободу. Девочку будут лечить, девочка будет жить.

Мне тоже помогли в поликлинике. Женщина в белом халате прощупала все мои косточки, все

мои рёбрышки пересчитала. Она слушала меня, а я смотрел на её белый-белый халат. После бомбёжек у нас в Сталинграде стали другими не только здания и улицы, но и деревья в садах и трава. Другим стало даже небо, а халат всё такой же, как и раньше, когда мама стирала и гладила для госпиталя.

В поликлинике нам дали лекарство в большой бутылке: для успокоения. Пить и мне и Шуре три раза в день по столовой ложке. А где ложку достать? Шура поручила мне таскать бутылку, но даже не вспомнила о ней, когда я оставил лекарство на подоконнике одного уцелевшего пустого дома.

Уже была слышна стрельба из автоматов, особенно со стороны вокзала. Как будто вдруг ни с того ни с сего сотни барабанщиков начинали выбивать дробь...

Фашисты рвались к центру города.

Глава пятая

ПОДРУГИ

На рассвете мы прошли Метизный и выбрались к железнодорожному полотну, проложенному у Мамаева кургана.

Мы всегда жили среди гудков. То заводы смену гудят, то пароходы перекликаются на Волге, а совсем рядом, под самыми окнами, гудят паровозы... На стыках рельсов стучали колёса рабочих поездов, раздавались свистки составителей, лязгали буфера.

А теперь только снаряды и мины, сверля воздух, с протяжным воем проносились над нами.

По обе стороны рельсов мы видели людей — кто из укрытия выглянет, кто к туннелю спешит. Женщины с разной посудой в руках шли на бугор к роднику за водой.

Здесь укрывались жители, уже давно перебравшиеся из своих небольших домишек у подножия Мамаева кургана — в щели и блиндажи, за железнодорожное полотно.

Всё то же «особое задание» привело сюда Шуру.

В одном из блиндажей мы задержались дольше обычного, вроде как привал сделали.

Вначале и здесь Шура уговаривала женщину, которая расчёсывала гребнем пышные тёмные волосы, перебраться вместе с детьми за Волгу. Женщина, назвавшая себя Фёклой Егоровной, объяснила, что живёт она здесь вместе с подругой, Александрой Павловной, которая теперь только спать приходит в блиндаж, а днём и ночью вывозит муку с мельницы, пожары тушит. У неё пропуск по всему городу. Про себя же Фёкла Егоровна сказала, что она за малыми детьми смотрит, а старший её сын, Вовка, Александре Павловне помогает.

— Мы с Александрой сдружились. У меня два мальчика, у неё две дочки.

Она заплетала свои густые волосы в косы, заплетала не торопясь и так же не спеша, тихим голосом возражала Шуре: мол, как же уезжать за Волгу, когда бомбят переправу, и зачем уезжать, когда всё равно наши фашистов за Волгу не пустят и Сталинград не сдадут.

Фёкла Егоровна хвалила блиндаж и объясняла, что они запаслись зерном; бойцам, штаб которых в мясокомбинате, они не мешают, даже наоборот, кому что сварят, кому постирают...

А блиндаж был действительно хорош: как-то по-особому прочно сколочен. Пахло сосной. Пол устлан досками. На гвоздях — кастрюли. А рядом с ними — часы-ходики.

Фёкла Егоровна сказала, что всё это соорудил, обстругал и даже тяжёлую дверь на петлях повесил муж Александры, плотник, фронтовик. После ранения дали ему отпуск для поправки, вот он незадолго до бомбёжки в Сталинград приехал, но не пришлось ему в своём доме пожить (его отсюда видать). Теперь вот блиндаж домом стал.

Я сидел на койке, сколоченной из досок. Подомной был матрац из мешковины, набитый соломой. Я облокотился на подушку, и очень мне захотелось хоть на минуточку вытянуться и опустить голову...

— Уморился,— сказала Фёкла Егоровна, взбила подушку, заставила улечься поудобней и даже покрыла мягким, пушистым платком.

Думал, полежу немножко — только маленькие днём спят, а мне стыдно. Засыпал и слышал, как на такой же койке напротив и у дверей возились малыши. Потом я почему-то забыл всё, что произошло недавно, и начал ждать, что сейчас подойдёт мама — тогда можно будет и заснуть.

...Мне снилась баня. Будто дяденька трёт мне спину, потом открывается дверь и входит слон, садится на скамейку. Хоботом пододвигает к себе шайку, опускает в неё ногу, достаёт ещё одну шайку и опускает в неё другую ногу...

Я никак не мог оторвать голову от подушки: будто и просыпаюсь, а глаза не размыкаются. И всё же слышу: Шура спрашивает, а ей отвечает мужской голос.

Сколько сразу интересных названий! В каком-то Невеле их разгрузили, а потом он дрался под Великими Луками, отступал на Торопец, а ранило его под Андреаполем; из Кувшинова отвезли в Бологое, а оттуда санитарный поезд доставил в Иваново, а из Иванова, через Москву, вернулся он в Сталинград.

«Невель — Торопец, Невель — Торопец», — повторял я про себя и снова начал было засыпать, как вдруг койка подо мной зашаталась, и я полетел, но не вниз — меня подбросило чуть ли не под бревенчатый потолок.

Детишки притихли. Фёкла Егоровна села рядом с ними. А Шура и дяденька в военном (я уже понял, что он и есть «плотник-фронтовик») встали у дверей.

— Как в августе, — сказала Шура.

Я тоже выглянул из блиндажа. Фашистские бомбардировщики летели чёрной тучей. Уже многое научился я понимать в этом грохоте и треске.

Наши из-за Волги отвечали гитлеровцам.

Я стоял на ступеньках, когда увидел: к блиндажу бежит женщина в военной гимнастёрке с засученными рукавами, подпоясанная широким красноармейским ремнём, а за нею — длинноногий, худой мальчишка. Я поскорей нырнул в блиндаж, чтобы дать им дорогу.

Это и были Александра Павловна и Вовка, старший сын Фёклы Егоровны. Александра Павловна, вся покрасневшая, потянулась за кружкой, отпила несколько глотков и передала кружку Вовке.

— Горит мельница, горит... И нашу телегу перевернуло, лошадь убило; их автоматчики вперёд лезут, до чего нахальные. Туда уж теперь не пройти.

Шура посмотрела на меня. Я подумал: «Туда не пройти? А мы пройдем». И вдруг Шура сказала непривычно громко:

— Гена, ты останешься здесь. Это свои люди, тебя не обидят. Гена будет у вас пятым.

Фёкла Егоровна молча подвинулась на койке, где она сидела с детьми, — мол, занимай, Гена, своё место с левой стороны!

Только я хотел спросить Шуру, долго ли мне придётся здесь её ждать, как она сама сказала:

— Всё узнаю, что надо, — приду. Опять Олю будем искать. А ты от этих людей — никуда!

Шура хотела распрощаться со всеми, но военный остановил её:

— Раз уж так, пойдём вместе. Документы при мне, пилотка на голове. Вот и вышел срок моему лечению.

Он быстро собрал кое-какие вещи — бритву, кисточку, даже сунул в мешок белую баночку с какой-то мазью.

— Дядя Ваня, а ты бей их, как я комаров в лесу, — посоветовал ему Вовка.

Фёкла Егоровна всё порывалась что-то сказать, но Александра строго на неё посмотрела.

— Всё наспех, всё наспех. Ведь не чай пить! — пробурчала Фёкла Егоровна.

Уж как водится, все мы присели на койки и немного помолчали. А потом поднялись.

Военный поцеловал своих девочек, Фёклу Егоровну, Вовку и его братишку и меня заодно поцеловал прямо в лоб, а потом крепко — Александру Павловну.

Мне тоже было тяжело оттого, что Шура уходит без меня.

Я глядел из блиндажа им вслед. Уже стемнело, и небо стало багрово-красным. Они шли

в сторону заводов, к мясокомбинату (а там и «Красный Октябрь» рядом). Военный слегка прихрамывал, и Шура сдерживала шаг.

Только уселся я на койку, как Александра Павловна накинулась на всех:

— Ну, чего приуныли? Марш умываться! — приказала она Вовке.

Я же посмотрел на ходики и вспомнил, что уже давно не заводил свои часы. Но ходики тоже стояли и даже сдвинулись набок. Я всё же достал часы из сокровенного карманчика, который Шура пришила с внутренней стороны моей рубашки. Достал и принялся заводить, поглядывая на Вовку.

— Покажи,— попросил он.

По случаю знакомства я дал Вовке подержать часы, а потом завёл их и наугад поставил стрелки.

Вовка тоже поправил ходики и потянул гирьку. А потом наклонился ко мне и негромко, чтобы мать не слышала, спросил:

— А это видел?

В его руке была «штучка», похожая на грушу. Я уже знал, что это не игрушка, а ручная граната.

— Карманная артиллерия! — с важностью произнёс Вовка и опустил гранату в карман.

Ещё долго рвались снаряды. Сквозь толстые стены блиндажа было хорошо слышно, что бой идёт где-то совсем близко.

В блиндаж забежали два бойца. Они попросили воды, а напившись, рассказали, что гитлеровцы заняли вокзал, захватили центр города, вышли на набережную, к памятнику Хользунову, и Даргора в их руках. А здесь уже — передовая.

Александра Павловна взяла на руки свою

дочку Агашу, откинула волосики с её лба, посмотрела в глаза и тихо сказала:

— Гадали, думали за Волгу ехать, а оказались на передовой. Опоздали. Теперь и к переправе не доползти. — Она опустила девочку на пол: — Вот потому и незачем было Ивана удерживать. Если уж так пришлось, пусть своё место займёт, где прикажут!

Шура не возвращалась. Я всё ждал — откроется дверь, она нагнётся и войдёт...

Я очень сердился на неё и очень ждал. И даже подумал, а не обижается ли мама — ведь кто мне Шура? Почему же я так скучаю без неё?

Но мама ответила мне: «Нет, сынок, не обижаюсь. Она твой друг, она твой командир».

А потом мама стала расспрашивать меня про другую тётю Шуру, и про Фёклу Егоровну, и даже про Вовку. И я ей отвечал: «Другая Шура — Александра Павловна — мне тоже понравилась, хотя она и не обращает на меня никакого внимания».

Её адъютантом был и остался Вовка. А меня она, должно быть, считала маленьким, а всеми маленькими в нашем блиндаже заведовала Фёкла Егоровна.

У Агаши была старшая сестра — остроглазая Юлька, лет пяти-шести. Она не любила сидеть на одном месте, рвалась из блиндажа наружу, за что не раз получала от своей мамы подшлёпник.

«Люби, как душу, а колоти, как грушу!» — приговаривала в таких случаях Александра Павловна. Эти же слова повторяла и Юлька, поучая свою куклу. Юлька воспитывала и Агашу.

Жили девочки в блиндаже, но не было среди них Оли. Я показывал им всё, что знал, всё, чем дома забавлял сестру.

Братишка Вовки, щекастый Павлик, сладко спал под звуки канонады; его ещё кормили из бутылочки.

Я стал помощником Фёклы Егоровны. Мерцает фитилёк, а я сижу у ящика и пропускаю через мясорубку пшеничные зёрна.

Фёкла Егоровна стряпает на печурке, а я Павлика на руках качаю и за девчонками присматриваю.

Ещё недавно, когда мы с Шурой по всему Сталинграду лазили, как ящерицы, я не думал об опасности, а здесь, в блиндаже, начал ни с того ни с сего вздрагивать: то страшно становится — а вдруг завалит нас всех, то думаю, как бы с Александрой Павловной и Вовкой чего не случилось.

Уйдут они, а Фёкла Егоровна начинает беспокоиться: «Где их, окаянных, носит!»

Взгляну я на Фёклу Егоровну, а у неё в глазах слёзы. Должно быть, поэтому она расчёсывала часто свои волосы, прикрывая ими глаза.

Вовка входил, всегда гроыхая; снимал с головы каску, доставал из карманов пуговицы, куски сахара, спички. Он всегда рассказывал, где что видал и слышал. Торопился выложить все новости.

— У Московского моста дальнобойную поставили. Командиры командуют: «Натянуть шнуры!»

Он, Вовка, под вагоны лазил, показывал разведчикам, как лучше сопку обойти, а потом артиллеристам к орудиям траву таскал — нужна для маскировки вместо выгоревшей.

Фёкла Егоровна слушала сына с удивлением и страхом, покачивая головой и вздыхая. Кругом смерть, а ему всё нипочём, всегда чему-то ра-

довался, всему удивлялся. Уходя из блиндажа, он обводил нас всех победным взглядом: мол, на рекогносцировку ухажу; или же торжественно произносил: «Славяне, нас много, и мы победим!» Когда мать просила его быть осторожным, он успокаивал её:

— Не буду покойником, буду полковником.

Однажды он пришёл огорчённый: один артиллерист, ведя стрельбу, всё время называл фашистов рыжими.

— Хоть бы на меня взглянул! — обижался Вовка.

— Ты рыжиком стал потому, что тебя солнышко любит, — утешала его Александра Павловна.

Всё ладилось в её руках. Взяла топор, пилу-ножовку и соорудила в блиндаже второй этаж — подвесную полку для детворы. В уцелевшей печи разрушенного, сожжённого дома решила Александра Павловна испечь хлеб. Как только не отговаривала её Фёкла Егоровна:

— Ведь убьют тебя. Обойдёмся без хлеба, хватит нам лепёшек.

— Ничего со мной не случится, заруби себе это на носу!

— Смотри, на рожон лезешь. Место открытое.

— У меня свой расчёт.

Александра Павловна ушла из блиндажа перед рассветом.

Утром меня разбудил домашний запах свежее испечённого хлеба.

Мне так запомнился запах ещё и потому, что, с тех пор как начались бои у Мамаева кургана, мы дышали не воздухом, а одной гарью.

Мы видели, как загорелся домик Александры Павловны. Она стояла у входа в блиндаж и не

отрываясь смотрела, как подпрыгивало пламя и клубился сизый дым над домишками у подножия кургана.

Она стояла, неподвижно следя за огнём, будто окаменела, потом подошла к Фёкле Егоровне, улыбнулась ей и сказала:

— Вот и мне небо с овчинку показалось. Недаром говорят: «Своя хатка что родная matka». Теперь мы с тобой как перепёлочки.

— Хорошо, хоть Иван твой не видел, как добро пропадает. Ведь всё своими руками.

— «Жила бы Совреспублика, а мы-то проживём» — так в гражданскую войну пели, — сказала Александра Павловна и провела рукой по гитаре, висевшей на крюке, вбитом в стенку. Гитара коротким звоном отозвалась ей, а Александра Павловна обвела нас всех странным взглядом и ласково сказала: — Погорельцы мои!

Перед блиндажом метались выскочившие неизвестно откуда горящие козы. Они дымились, как головешки. Их пристрелили и потащили на красноармейскую кухню.

Сгорел домик Александры Павловны. А печка уцелела.

— То, что для огня, огонь не трогает, — деловито объяснил Вовка.

Я сидел на ящике у входа в блиндаж, окунал в кадку с водой ватные стёганки и обкладывал ими дверь.

Было жарко, даже воздух и тот обжигал.

Глава шестая
НА САМОЙ ПЕРЕДОВОЙ...

Самому сейчас не верится -- неужели всё так и было?!

Всем известно, какие тяжёлые бои шли за Мамаев курган. Мы оказались в самом пекле. Такого второго побоища ещё не было на земле. Со всех сторон подошёл фронт к подножию кургана.

Позиции наших бойцов каждый день менялись. Даже Александра Павловна и Вовка путали, где штаб дивизии, а где батальона. Всё было рядом. До нас уже и немецкий разговор доносился. И не мы одни, но и другие гражданские люди всё это видели и пережили. На самой передовой, в земляночках и блиндажах, жили женщины с малыми детьми...

У Фёклы Егоровны была наготове иголка с ниткой — зашить бойцу рваную гимнастёрку. В блиндаж приносили и раненых. Некоторые подползали сами. Другие шли в рост, но, не осилив последних метров, падали, теряя сознание у самого блиндажа.

Александра Павловна и Вовка теперь уже не перебежали, не пригибались к земле, а ползли по-пластунски. Они тянули раненых на плащ-палатках и шинелях.

Юлька и Агаша притихли. Только Павлик ни с чем не считался.

Фёкла Егоровна качнёт его разок-другой, а сама спешит к раненому, снять с него окровавленную рубашку. Она часто смазывала раны рыбьим жиром. Смазывала и шептала:

— Сынок, потерпи, потерпи, родной.

Не раз я замечал: Фёкла Егоровна успокаивала людей, а у самой в глазах слёзы. Добрая

она, каждому хотела сказать что-нибудь хорошее.

Разные раненые бывали. Некоторым и больно, а они посмеивались. Один пришёл и говорит:

— Ой, в сердце! Моя Дунька не узнает, что меня убило.

А Фёкла Егоровна ему:

— Врёшь, не помрёшь; если бы в сердце, так бы не стоял.

Я стал замечать, что Фёкла Егоровна и строга бывает: «Нечего нюни распускать, у тебя пустяк!» Или скажет уверенно: «Раз кость целая, мясо нарастёт!»

Однажды Александра Павловна притащила на плечах раненого. Оставила его, а сама обратно, на курган.

Боец всё рассказывал о себе. Был он пчеловодом, поэтому про пули и осколки говорил: «Жужжат они и кровь собирают». Он всё хвалил какого-то сибирского пчеловода, который орденом Ленина награждён, и обещал нам: если останется жив, тоже с одного улья тридцать пудов мёда возьмёт.

Он схватил Фёклу Егоровну за руку: «Дай я тебя поцелую!» А потом застонал. Видно, больно стало, и он приуныл, замолчал.

Фёкла Егоровна очень расстроилась. За всех страдала она. Бывало, как загрохочет особенно сильно, сядет у самой двери, словно для того, чтобы всех нас прикрыть и защитить своим телом от осколков.

По временам страшно хотелось спать, вытянуть ноги, примоститься, свернуться. А приходилось сидеть.

Я бывал доволен, если удавалось расправить руки или упереться ногами в стенку. Устроишься кое-как, но ненадолго: то чувствуешь над го-

ловой чью-то ногу, то в живот упирается чей-то локоть.

Придёт кто-нибудь в первый раз, увидит большое наше семейство, обязательно спросит:

— Как же это вы здесь остались?

Александра Павловна не любила таких расспросов — то ничего не ответит, а то коротко скажет:

— На вас надеемся!

Однажды смотрел на нас один боец, смотрел, а потом сказал своему товарищу, словно вырвалось у него:

— Вот так где-то и наши...

Много людей перебывало в нашем блиндаже. Приходили совсем усталые, молчаливые... Вбегали, обтирая пот с разгорячённого лица. Я понимал, что им на кургане очень жарко. Здесь они остывали после боя, снимали сапоги, разматывали портянки, переобувались.

Автоматчики набивали патронами круглые диски. Я как-то попробовал поднять такой диск — он оказался очень тяжёлым.

Тем, кто никогда раньше не бывал в нашем городе, Александра Павловна и Фёкла Егоровна про Сталинград рассказывали, и Юлька старалась своё словечко вставить про то, как она с отцом побывала в цирке-шапито, и про слона, который не «кукуировался».

Бойцы приносили нам сухари, гороховый концентрат и угощали кусочками сахара весь наш «детский сад». Кроме того, мы грызли, как морковку, сырую тыкву.

Я любил слушать, как бойцы про свои письма рассказывали. Один снайпер письмо прочитал и тут же молча передал своему товарищу. А тот только взглянул и сразу же с Фёклой Егоровной поделился:

— Посмотрите на него, теперь петухом ходить будет: сын у него родился.

И письма нам читали, и фотокарточки показывали.

Фёкле Егоровне все жёны, подруги и детишки нравились. Один связист, часто бывавший в нашем блиндаже, достал из кармана маленькую фотокарточку:

— Вот мой альбом!

Мы увидели лицо молодой женщины с большими глазами. И платье на ней было в крупный горох. Должно быть, горошины тоже были синими, как и на мамином платье.

— Жена... Надюша! Моей старушке двадцать два года,— сказал связист и бережно спрятал фотокарточку. С плоскозубцами он побежал «на линию».

— Какая красивая эта Надюша! — сказала Фёкла Егоровна.

На этот раз я вполне с ней был согласен и решил, если вернётся связист, попрошу его ещё раз показать «альбом».

Как жаль, что Фёкла Егоровна не видела мою маму!

Глава седьмая

ОРЛОВ И ЕГО СТЕРЕОТРУБА

Запомнился мне один артиллерист. Как я обрадовался, когда увидел у него хорошо знакомую мне вещь! Он вытащил из футляра бинокль и стал протирать стёкла. Я подсел к нему и попросил:

— Можно посмотреть?

— Отчего же нельзя? — улыбнулся артиллерист и протянул мне бинокль.

Я держал его в руке и вспоминал наш маленький, который остался дома. А это был настоящий военный бинокль. Только бы не уронить. Я посмотрел в него, но ничего не увидел. Тогда я отодвинулся, перевернул бинокль и приложил к глазам большие стёкла, наводя их на рукав артиллериста: там на нашивке перекрещивались серебристые стволы, но опять в глазах только запрыгали тёмные круги.

Я огорчился, а артиллерист сказал:

— Держи крепче.

Он вывел меня из блиндажа. Я встал на ступеньку и снова, затаив дыхание, посмотрел в бинокль. Бинокль сразу ожил: его трубки то отодвигались в стороны, то раздвигались — вперёд и назад. Я увидел перед собой и крупные ветки кустарника, и колёса вагонов, стоявших на дальнем пути...

Я бы долго ещё смотрел не отрываясь, но Фёкла Егоровна позвала в блиндаж.

Это было только начало моей дружбы с артиллеристом. Он не спешил, сказал, что пробудет у нас до самой темноты. Я не сводил с него глаз и особенно интересовался его имуществом. На койке лежал ещё один футляр в чехле. Он принёс с собой катушку провода и что-то завёрнутое в плащ-палатку.

Вовка всё рассказывал артиллеристу про курган, ложбинки и овражек, а тот даже карту на коленях разложил: то Вовку спросит, то на карту посмотрит. Вовка же то и дело подскакивал к Фёкле Егоровне и шептал ей на ухо так, что всем было слышно:

— Он на огневых сидеть не любит. Он разведчик самый главный и знаменитый.

— Ну уж и знаменитый! — отнекивался артиллерист и сам рассказывал Фёкле Егоровне, что он из Москвы, там и родился, а дома давно не был. Должен был осенью сорок первого года в Москву вернуться, а тут война началась...

Фёкла Егоровна его о родных расспросила и посочувствовала.

— Вот бы матери на тебя поглядеть! — сказала она и так взглянула на артиллериста, будто знала его давным-давно.

А Вовка всё шептал:

— Он и в Финляндии воевал. Видишь, на ордене эмаль отбита.

Мне очень фамилия москвича понравилась. Когда он назвал себя Орловым, я тоже представился:

— А я Соколов!

Он приходил к нам всегда под вечер, то один, то с радистом.

Вовка, часто бывавший у артиллеристов, рассказывал о нём удивительные вещи: то Орлов из винтовки «Юнкерс-87» сбил, то совсем недавно пять немецких автоколонн обнаружил...

Сам Орлов же никогда ничего про свои военные подвиги не рассказывал. Придёт, всегда что-нибудь разматывает, протирает. В бумажках любил рыться, маленьким карандашиком на каком-то листке птички ставил, а иногда при этом и негромко напевал. Ни одной песни он не доводил до конца: то одну начнёт, то другую, и все они были у него почти на один мотив. Только затынет «Скрылось солнце за горами» — и сразу же переходит на «Карие глазки».

И вот однажды снял он чехол с футляра, раскрыл его и бережно достал что-то обложенное

ватой, завёрнутое в тряпки и в измазанную землёй марлю (это, как я узнал потом,— для маскировки). Он раскрыл марлю, и я увидел две соединённые трубы с блестящими стёклами.

— Прошу любить и жаловать: стереотруба! Мы сразу же вышли наружу.

Орлов, установив стереотрубу в окопе возле блиндажа, повернул трубы в сторону Волги. Её «глаза» чуть выглядывали из окопчика.

Вначале было видно только какие-то два круга. Орлов подкрутил — и они слились в один, и всё далёкое стало таким близким! Что там бинокль!

Прямо передо мной лежала железная бочка. Мне показалось, что стоит только протянуть руку — и я дотронусь до неё, постучу, и если она пустая, сразу же зазвенит. А что, если фашисты сейчас на нас тоже смотрят и видят так же ясно, как я, и чучело на огороде и зазубренные края битых кирпичей?

...В вечерние и ночные часы у нас было особенно людно. Заходили разведчики, связисты, подносчики термосов, письмоносцы; медсёстры и санинструкторы уносили раненых.

Как-то ночью мне не спалось. Вышел я из блиндажа. Всё трещало, содрогалось и грохотало. Огонь пробирался по изрытой земле. Пахло порохом, но зато куда ни глянешь — столько огней и все такие разные: красные, зелёные и совсем белые. Огни бежали наперерез друг другу, сливались, кружились, мигали.

Светящиеся точки чертили небо. Вспыхивали ракеты, заливая всё белым светом. А я думал об Орлове и связистах. Должно быть, когда горят эти «висящие лампы», они припадают к земле, а когда гаснут, снова ползут на свой наблюдательный пункт.



Всю ночь Орлов будет следить за вспышками орудийных выстрелов и обязательно узнает, откуда ведут огонь шестиствольные миномёты.

И днём я словно был рядом с Орловым и вместе с ним смотрел в чудесные стёкла: видел вражеские блиндажи, танки, дымящиеся походные кухни и серые фигурки солдат с котелками. Обо всём этом мне рассказывал Орлов.

А когда высоко надо мной летели наши тяжёлые снаряды (ухо сначала улавливало свист, а потом удары и глухие раскаты далёких взрывов), я был уверен: это Орлов вызвал «огонёк» наших дальнобойных орудий и точно указал цель.

Может, он даже видел, как они сокрушали эту цель. А если не сокрушили, он высчитает точнее и сообщит новые данные на огневую позицию своей батареи, и новый снаряд наверняка попадёт.

Прямое попадание!

Как-то Орлов пришёл перед рассветом. Усталый, с покрасневшими глазами, и первым делом, как и другие, попросил воды. Снял гимнастёрку и вытряс её за дверь. Поливала ему Фёкла Егоровна. Он мылся очень долго и старательно. Тщательно тёр шею. И тут уж не Вовка, а он сам рассказал о том, что с ним было.

Командир батареи приказал ему пробраться в тыл к немцам, на ту сторону кургана. Орлов залез в траншею, забитую трупами. Там и пролежал много часов, не подавая признаков жизни, зато всё видел и засёк важные цели.

— Вот какая карусель! — закончил он свой рассказ. — Вы от меня, Фёкла Егоровна, подалее бы, пока я как следует не проветрюсь. Чем я там только не надышался!

А Фёкла Егоровна подошла к нему, провела рукой по волосам и сказала:

— Черноволосый ты наш, а волосы-то жёсткие!

Орлов достал из планшетки чистый подворотничок и, не позволив Фёкле Егоровне взяться за иглу, сам пришил его к гимнастёрке, приговаривая:

— Чистота — залог здоровья!

А Фёкла Егоровна всё переживала и удивлялась:

— Как же это ты так?

Вместо ответа Орлов снял со стены гитару, настроил её, обвёл взглядом проснувшуюся детвору и ударил по струнам, как настоящий артист-гитарист.

И запел полным голосом, совсем не так, как раньше:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля.

Но тут в воздухе снова заурчали моторы фашистских бомбардировщиков.

— Опять, черти картавые, по головам ходят! — досадовала Фёкла Егоровна.

Она уже не слушала Орлова, и ему не пришлось допеть песню. Одной рукой он водворил гитару на место, а другой — потянулся за винтовкой, стоявшей в углу.

Он заторопился, пригнулся, принаравливаясь к винтовке, и выбежал из блиндажа.

Я уже знал, что Орлов с колена целится сейчас вверх на два фюзеляжа вперёд, чтобы пуля попала в самое брюхо пикировщику.

Глава восьмая
ПЕТР ФЕДОТОВИЧ

Часто навещал наш блиндаж один сержант-бронбойщик.

Лет ему было много, и всё его лицо, даже подбородок, было прочерчено глубокими морщинами, похожими на канавки. Он плотно натягивал маленькую пилотку, но всё равно казалось, что она держится на его крупной голове каким-то чудом.

Мне запомнились его большие, широкие руки, похожие на лопаты, и глаза, чуть прищуренные, всегда насмешливые. Они тоже были словно не по размеру: маленькие — по сравнению с его широким скуластым лицом.

— А ну, кто тут живой, проснись! — кричал сержант ещё издали.

Ему трудно было говорить шёпотом. Он никогда не отделялся общим поклоном. Даже с Павликом у него был особый разговор: почему-то называл он его «открыточкой». Если Павлик начинал плакать, сержант потирал руки и говорил с восхищением:

— Люблю слушать, как он плачет!

Когда однажды Павлик вдруг заголосил, бронбойщик заглянул ему в глаза и сказал:

— Вот не люблю, когда кричат, люблю, когда сам кричу.

Все мы, видно, приглянулись сержанту. Ага-шу он называл потешницей, а Юльку — барышней.

«А как бы он Олю назвал?» — думал я. Мне стало стыдно, что я часто дразнил сестру плаксо-й-ваксой.

— А ты всё с девчонками сидишь, — сказал мне как-то сержант и тут же, чтобы я не оби-

делся, добавил: — А ты, молодчага, не огорчайся, подрастёшь, тогда и мне поможешь ружьё таскать!

Он приносил нам разные гостинцы; сам протирал ложки, доставал концентраты, немецким тесаком открывал консервные банки и при этом что-нибудь приговаривал:

— Суп гороховый, суп прозрачный, суп пю-реобразный.

Закончив приготовления, он требовал, чтобы все мы ели вместе с ним. Никто не отказывался, а он говорил:

— Люблю такую компанию!

Всех угощал, а сам протягивал пустую консервную банку Фёкле Егоровне:

— Чашечка красива прибавочки просила!

Ел он не торопясь, а закончив еду, стряхивал хлебные крошки с колен и всех нас благодарил:

— Вот и хорошо! Настроение хорошее, обедом угостили, а теперь пора и ужинать.— Он хлопал себя по животу и улыбался, подмигивая надутой Юльке...

Однажды сержант достал кисет, вышитый цветочками, мундштук и аккуратно скрутил большую самокрутку; солидно покашлял и начал рассказывать про то, как в царской армии проходил службу и в прошлую войну с немцами воевал.

Рассказы свои он называл «брехнёй».

Запомнилась мне его «брехня» о том, как солдаты насыпали в пушку пятнадцать пудов пороху и пятнадцать пудов солдатских пуговиц и так «вдарили» по врагу, что остались от него только рожки да ножки, как в сказке про козлика.

А в другой раз старый сержант рассказал,

как он два танка противогазом уничтожил и верхом на коне подводную лодку потопил.

Рассказывал он, рассказывал, вдруг запнулся. Мы ждём, что же дальше-то будет, но слышим: храпит наш сержант.

Фёкла Егоровна ему тут же что-то мягкое под голову подложила.

Как раз в это время Александра Павловна с Вовкой вернулись. Александра Павловна сразу же сапоги с бронебойщика стянула. Он только улыбнулся во сне, чуть приподнял голову, посмотрел на всех, а потом поудобнее вытянул ноги и снова заснул. А когда проснулся, вскочил, как по тревоге, но, узнав, что спал совсем недолго, начал не торопясь разглаживать свои портянки, а Александру Павловну благодарить. Называл он её землячкой за то, что она, когда ездила на Камчатку работать на рыбные промыслы, его Урал проезжала.

А она называла сержанта по имени-отчеству — Петром Федотовичем.

Пётр Федотович натянул сапоги, пристукнул каблуками и признался, словно по секрету:

— Грешен человек — люблю поспать, хотя это и смерть для молодого человека. А всё потому, что во сне вижу мирную жизнь и с Марусенькой своей разговариваю. Поцеловала она меня в левую щёчку и исчезла. Хорошая она у меня тётка.

Когда бы ни приходил сержант, каждый раз вспоминал о своём доме.

Мы уже знали, что жена его, Марусенька, шибко чистоту любит: то потолок белит, то пол скоблит, чтоб доски были жёлтые и сосной пахли: знали, что дочь сержанта, Наденька, — баловница, в этом году первый раз в школу пошла, и он хотел бы посмотреть, как она за партой

сидит, а три его сына воюют на разных фронтах, и от одного из них давно уже нет известий.

Задумается, бывало, сержант, нахмурит густые выгоревшие на солнце брови, а потом улыбнётся, да так, что, кажется, и нос у него смеётся.

— Кончится война, заявлюсь домой, войду и скажу: а кто тут живой, встречайте!

Недаром бойцы, приходившие к нам в блиндаж, называли сержанта кто отцом, кто батей, а кто просто товарищ парторг.

Хороший был он человек, добрый и нас, детей, любил. На левой стороне гимнастёрки он носил серебряную медаль «За отвагу». Натянет он свою скомканную пилоточку на голову, а каску за ремешок возьмёт и говорит всем на прощание:

— Довольно болтовнёй заниматься, пора и воевать. Стар я стал, попадать не стал. Но всё-таки больше туда, чем мимо.

Когда сержант долго не приходил, Александра Павловна сама относила ему воду и всем от него по очереди поклоны передавала. И рассказывала, что залёг он со своими бойцами совсем неподалёку от нас, у самой лощинки, и ружьё своё противотанковое, длинное-предлинное, прикрыл брёвнами и кирпичом.

...Наступило ещё одно дымное утро.

Как всегда, фашистский разведчик «фокке-вульф», всем известная «рама», или, как говорили тогда «костыль-горбыль-кривая нога», появился над нами. Вот уж кого легко было распознать! Он не летел, а плыл в воздухе. В «раму» били наши бойцы кто из чего мог; иногда она забиралась в высоту, но чаще спускалась и обстреливала из пулемётов наши окопы.

К этому мы уже привыкли, как и к тому, что,

едва появившись, солнце скоро скрывалось за тучами пыли и дыма.

Мы все закоптились, пропахли чем-то жжёным, удушливым. Пули и осколки взметали чёрную высохшую землю. Отрывисто трещали вражеские автоматы. Им отвечали наши пулемёты. Целый день над нами хлестали пули, с диким рёвом и свистом летели мины.

Как начнут они грохотать то спереди, то сзади, значит, сам Гитлер залаял и заквакал.

Голова становилась тяжёлой-претяжёлой, как будто кто коловоротом сверлит или заколачивает в неё гвозди.

Я научился всё это как бы не слышать. Ватой уши не затыкал, а просто о чём-нибудь своём старался думать. Так легче было переносить этот вой. Одни звуки заглушали другие; кроме того, я уже знал, страшны не громкие пули, а те, что кусают исподтишка — и не услышишь, как зацепят.

Вдруг глухо загудели фашистские танки, стало очень страшно. На нас шёл чужой, глухой скрежет.

Александра Павловна была с нами в блиндаже.

Фёкла Егоровна молча поглядывала на свою подругу, точно ждала, что же она теперь-то ей скажет.

А Александра Павловна почему-то обернулась ко мне и спросила:

— Мурашки бегают?

Я кивнул и подумал: «Неужели их танки придут сюда?»

Все мы тогда, кроме Павлика, думали об этом. Александра Павловна уже не журила Фёклу за трусость, за беспокойство, сама сказала:

— Раньше боялась: стану уродом — как буду жить среди своих, а теперь поняла: лучше уродом со своими, чем красавицей у чужих. На всё готова, лишь бы к ним с детьми не попасться.

А они были так близко...

— Отвяжись, худая жизнь! — сказала Александра Павловна и обняла Фёклу Егоровну.

Девчонки вцепились им в юбки, а Вовка пробурчал:

— А граната на что! — и, опустив руку в карман, встал у самой двери. Все молчали, а Александра Павловна прислушалась:

— Слышите — бас. Громче всех. Должно быть, Пётр Федотович бьёт из своего «шляпина».

Вовка выбежал из блиндажа, а через несколько минут вернулся радостный и закричал:

— Подбили, подбили наши их танк! Сам видел, как завертелся!

По-прежнему не умолкали пушки, гавкали миномёты, шипели тяжёлые снаряды; в блиндаж просачивался смрадный чад, но в доносившемся гуле уже не было скрежета танков.

...Через несколько часов в блиндаж появился наш бронебойщик. Каска — на голове, пилотка — в руке. Капли пота стекали по его лицу.

— Жарко! — сказал Пётр Федотович. — Урал не посрамили! Вот только орудие моё очень уж раскалилось. Подбили мы два танка, а другие «чёрные связки» назад повернули. Гады, помощника моего ранили. Остался я без «второго номера». Всегда его помнить буду.

Сержант снял гимнастёрку и протянул её Фёкле Егоровне:

— Залатай, прошу!

Он жадно пил воду, но, не допив кружку, медленно вылил остатки себе на волосы; потом

повертел головой направо, налево и сказал:
— Раз она круглая, должна вертеться.
И земля вертится.

Глава девятая

ПИСЬМО НА УКРАИНУ

С каждым днём становилось тревожней.
Отгонят наши фашистов на железнодорожную насыпь, продвинутся вперёд на несколько метров — Александра Павловна Фёклу Егоровну подбадривает:

— Разве можно унывать в такое время!

Отобьют фашисты наши атаки, потеснят со ската — Александра Павловна сама не своя.

Она знала каждый кустик, каждую ямку вокруг бугра. И связистам помогала, и боеприпасы подтаскивала. А когда их не хватало, собирала у убитых гранаты и подносила бойцам.

Как она их только не называла: и сметливыми, и удалыми, особенно моряков, которые на суше дрались!

— Бравый народ! Любо-дорого посмотреть!

Заводских хвалила за хватку, а про пехотинцев говорила, что «нет нигде лучше их, ни в мире, ни в Сибири». Придёт Александра Павловна в блиндаж усталая, бледная, с запавшими глазами, урвёт часок-другой для сна и снова обратно.

А однажды Александра Павловна из танка, подбитого гитлеровцами, обожжённых танкистов вытащила. Сама приползла вся в крови, почерневшая, опалённая, глаза мутные... В блиндаже расступились, и Александра Павловна упала животом на койку.

Фёкла Егоровна не знала, как помочь по-друге. Всю ощупала. Нигде ни царапины. Должно быть, оглушило её или надорвалась. Она только пожаловалась, что всё в её глазах расплывается, терпкий запах пороха стал ей не-возмогу.

Фёкла Егоровна раскрыла дверь. Александра Павловна попросила закрыть. Только закрыли дверь, опять просит открыть.

Александрю Павловну все окопники и тыловики знали и крепко уважали. Из штаба батальона пришли её провести, а потом и военврач появился. Выслушал трубочкой, как маленькую, и сказал:

— Полежать вам надо, Александра Павловна, успокоиться.

Он и Павлика заодно осмотрел, потрогал головку, за ножки потянул:

— Хорош фронтовичок! Хоть бледненький, а с обстановкой справляется!

Фёкла Егоровна никуда больше от себя Александрю Павловну не отпускала.

Слышал я их разговор, когда Фёкла Егоровна тельняшки стирала:

— Знаю, не оставишь ты моих девчонок.

— Ну и ты мою ораву не бросишь.

Как-то ночью, когда Александра Павловна ещё подчинялась Фёкле Егоровне, а Вовка где-то один лазил, совсем близко от нас кто-то застонал.

Фёкла Егоровна вышла из блиндажа и прислушалась. Она действовала по всем правилам и поползла по-пластунски.

Осмотрелся я — тихо в блиндаже. Юля и Агаша спят рядышком. Вышел из блиндажа и пристроился на ступеньках у входа.

Фёкла Егоровна подтащила раненого. Он



тяжело и часто дышал. Усадила его на верхней ступеньке, сняла шинель, расстегнула гимнастёрку, на голову положила мокрый платок, а мне велела не отходить. Должны санитары с носилками подойти.

Раненый задыхался, как будто что-то злое, попавшее ему в грудь, не могло успокоиться и хрипело в нём, вырываясь наружу то со свистом, то со стоном.

Откуда-то вынырнул Вовка.

— Тётя Фёкла, Вовка здесь! — крикнул я.

А Вовка уже раздобыл обложку какой-то книги и начал махать ею перед лицом раненого.

Сквозь прерывистые хрипы мне показалось, что он кого-то зовёт. И мы с Вовкой услышали:

— Мамо!

После этого он ещё раз прохрипел, подался вперёд, покачнулся, ещё раз глубоко вздохнул и перестал жить.

На наш крик вышла Фёкла Егоровна, а за ней, чуть шатаясь, Александра Павловна.

Женщины подняли мёртвого и положили лицом вверх около блиндажа.

Когда рассвело, я увидел на земле маленькую самодельную записную книжечку. Всего несколько листов, прошитых толстой ниткой. На первой страничке — фотография. Чётко и со старанием выведены буквы. Даже я мог их разобрать.

Из этой книжечки мы и узнали, что убитого звали Колей. Он сфотографировался, когда вышел из госпиталя и в третий раз ехал на фронт.

Александра Павловна объяснила нам, что Коля не получал писем из дому и сам не писал

домой, потому что его родина была занята фашистами. Но в книжечку записывал всё, что хотел сказать матери. Он желал здоровья своей маме и сестре Наде. Он писал им, что жив и здоров, чего и им желает. И просил того, кому попадёт эта книжечка, переслать её на Украину...

— Сердечный, верил своей власти,— вздохнула Александра Павловна.

Она раздумывала вслух, сдать ли эти листочки капитану, приходившему к нам в блиндаж, или сохранить у себя.

— Капитану расскажем, а письмо, раз матери,— дело женское. Придёт время, сама отошлю. Так и знайте: у меня на груди, вместе со всеми документами,— сказала Александра Павловна.

Вовка расширил яму, вырытую снарядом, и на дно постелил шинель. Когда земля скрыла Колю, Фёкла Егоровна заплакала и обняла Вовку.

Александра Павловна стояла у входа в блиндаж, прислонившись к бревну...

Над головой прошуршал одинокий снаряд.

Откуда-то доносились хриплые голоса.

А потом налетел и зашумел ветер.

Ветер принёс какую-то свежесть.

Я вспомнил, как когда-то сдувал одуванчики, стараясь, чтобы пушинки попали Оле в лицо, а она стряхивала их и весело кричала: «Одудяги, одудяги!»

...Много лет прошло с того серого утра, а я до сих пор слышу Колин голос: «Мамо!» Как будто звал он не только свою маму, оставшуюся на Украине, но и мою, которая уже никогда не отзовётся...

Глава десятая

ПЕРЕШЛИ ЛИНИЮ ФРОНТА!

Настал день, когда нам пришлось покинуть блиндаж.

Бой шёл совсем рядом.

— Придётся вам, солдатики, на новое место перебираться, — сказал забежавший к нам командир.

Мы ещё собирались, а в блиндаж уже пришли телефонист и другие очень занятые люди. Один из них похвалил наше жильё за четыре наката, а другой только вздохнул:

— Эх, малолеточки!

Мы покинули блиндаж в сумерках. Фёкла Егоровна несла на руках спящего Павлика. Я, Юлька и Вовка тянули скарб.

Александра Павловна хотела оставить гитару, но Юлька упростила взять и теперь волочила её за собой — удивительно, как не разбила.

Мимо нас пробежали бойцы в плащ-палатках. Вовка тут же объяснил:

— Для броска накапливаются.

Одна за другой разорвались вражеские мины, обдав нас горячим воздухом.

Из всех соседних щелей к мосту тянулись жители. Все были очень худыми. Неужели и мы такие же? Я нёс ведро и стёганки. Одну из них надел на себя. Рукава болтались, пришлось их подвернуть.

Наконец добрались до туннеля под мостом, насквозь продуваемого осенним ветром.

Александра Павловна с Вовкой принялись в сторонке копать щель. А я расстелил стёганки, и Фёкла Егоровна уложила на них Павлика и посадила девчонок, укрыв их одеялом.

У стены стояла высокая старая женщина; она взглянула на меня, но, заметив, что я тоже обратил на неё внимание, отвернулась...

Меня удивил её чёрный балахон с широкими рукавами, напоминавшими крылья. Засаленная, дырявая матерчатая сумка висела на большой белой перламутровой пуговице. На ногах — клетчатые домашние туфли с пушистыми помпонами. А на голове — детская панамка, из-под которой торчали косматые волосы какого-то мутного цвета.

«Должно быть, тронулась после бомбёжки», — подумал я. Мне стало жаль старуху, я подошёл и спросил:

— Бабушка, ты в Сталинграде жила или из Ленинграда приехала?

Она ничего не ответила, но всё же обернулась и как-то странно, вскользь посмотрела на меня, будто что-то хочет и не может сказать. Может, она глухонемая?

— Бабушка, пить хочешь? Я принесу, — крикнул я очень громко.

Но она опять ничего не ответила.

Землянка была ещё не готова. Александра Павловна и Вовка собирали доски, подкатали бревно, а когда стемнело, отправились к нашему блиндажу — за оставленными вещами.

Фёкла Егоровна не отходила от детей — то одеяло поправит, то сядет так, чтобы загородить их собой от ветра.

Я лёг на стёганку, прикрыв рукавами ноги.

Должно быть, спал некрепко, потому что сразу же проснулся, когда почувствовал — кто-то погладил меня по голове и тихо сказал:

— А волосы уже отросли.

Какой знакомый голос!

Я вскочил, увидел высокую старуху, заглянул ей в глаза. Не помня себя, вцепился в её руку. Это её рука — большая, шершавая! Я гладил эту руку и снова слышал знакомый Шурин голос:

— Хороший мой.

Как же она быстро состарилась? Она накинула мне на плечи стёганку и потащила за собой. Но только мы отошли на несколько шагов, как Шура остановилась и сказала:

— Видишь, какая я стала.

— Тётя Шура, разве можно так скоро стать бабушкой? А морщин сколько!

— Всё лицо в морщинах. Недаром беззубая! Слушай, Геночка, не уходи от этих людей, а мы с тобой скоро увидимся. Иди, и никому ни слова. А мне туда! — Шура крылом своего балахона показала в сторону нашего блиндажа.

Она сгорбилась и ушла, не оглядываясь.

Я не сразу опомнился. Но когда до меня дошло, что Шура уходит, ни о чём больше не думая, кинулся за ней.

Вспыхнули ракеты: вначале красная, потом зелёная. Гаркнули мины. Шура легла. А я, не теряя времени, подбежал к ней совсем близко. Она услышала мой топот, обернулась и приказала:

— Гена, вернись!

— Шура, возьми меня с собой.

— А если с тобой что случится?

— Ничего не случится.

— Гена, вернись!

Но я, вместо того чтобы послушаться, подбежал к ней и схватился за чёрный балахон. Не отпущу! Мама взяла бы меня! Я слышал, что у людей бывает разрыв сердца. Сердце так билось, что я решил — сейчас оно лопнет. Я уже

закрыв глаза. И в это мгновение услышал Шурин голос:

— Открой глаза. Дай я посмотрю, Гена, какие они у тебя. Так слушай же хорошенько. Я говорю с тобой от имени командования. Такой бабушке, как я, нужен такой внучек, как ты. Забудь о том, что звал меня Шурой. Я стала старухой, чтобы меня не узнали. И вообще на старух немцы внимания не обращают. И ни о чём больше не спрашивай. Ладно, беру тебя в помощники. И запомни: я твоя бабушка Наталья. Я Наталья Антоновна, а ты мой внучек, мы идём в город мамку искать.

— А может быть, Олю?

— И мамку и Олю,— согласилась Шура.

Мы проползли через железнодорожную линию, потом долго лежали. Ещё проползли и забрались в воронку, пахнущую порохом и дымом.

Там и просидели почти до рассвета. А когда рассвело, Шура поправила на голове панамку, сморщила лицо и не спеша, молча пошла вперёд совсем незнакомой мне походкой.

...Мы вышли через пустырь к разрушенному дому. У ворот я увидел вооружённых людей, одетых в зелёно-пепельные шинели.

Они разговаривали на незнакомом мне языке.

В первый раз я увидел так близко захватчиков.

Они не обратили на нас никакого внимания.

Мы шли по разрушенной сталинградской улице. Моя бабушка Наталья Антоновна чуть наклонилась и сказала мне прямо в ухо:

— Перешли линию фронта!

Глава одиннадцатая
«БАБУШКА» И «ВНУЧЕК»

Я не узнавал своего города. Немцы вели себя так, будто не мы, а они здесь всегда жили.

За плечами у солдат, как у школьников, висели большие жёлтые ранцы. Болтались тесаки. Сапоги коротенькие, на толстой подошве с шипами. И френчи короткие, с аккуратно вшитыми хлястиками. Даже зло взяло — сколько среди них было чисто одетых, холёных и гладко выбритых. Они шурились от солнца, протирали очки, полоскали зубы, прикладываясь к флажкам, обтянутым сукном; потягивались, выходя из блиндажей, и громко приветствовали друг друга.

Шура на них и внимания не обращала. Несколько раз нас окликнули часовые. Но какое дело до часовых глухой старухе, которая и так задыхается, кряхтит и кашляет?

И Шура шла всё дальше, будто никого и ничего не замечала.

Смотрит Шура по сторонам, что-то запоминает, сама с собой разговаривает:

— В доме 20 по Медведицкой на четвёртом этаже немецкие офицеры... В церкви, выходящей на Невскую, склад боеприпасов.

Одно и то же по несколько раз повторяла Шура.

А когда мы добрались до угла Донецкой и Волховской улиц, Шура остановилась и по складам прочитала надпись на клочке фанеры: «Русским проход запрещён. За нарушение расстрел».

Пришлось повернуть назад.

Пошли к садику. Только Шура вступила на

дорожку, как гитлеровец в наброшенной на плечи пятнистой накидке преградил нам путь. Шура хотела обойти его по выгоревшему газону. Солдат что-то закричал громким голосом.

Шура остановилась, посмотрела на крикуна и зашептала.

Когда мы проходили через площадь, у развалин гостиницы увидели ровные ряды свежеструганных деревянных крестов. Здесь были похоронены убитые немцы. И тут же, рядом, лежали люди в красноармейской форме. Гитлеровцы запрещали их хоронить.

Всё больше попадалось вражеских солдат. Они несли полные котелки, боясь расплескать какую-то еду. Некоторые прижимали к груди огромные арбузы.

Шура засмеялась, а потом заплакала. Трудно было понять — плачет ли она или смеётся. Я никогда не видел, чтобы человек делал это одновременно.

На мою «бабушку» прохожие посматривали с удивлением и даже боязнью.

На набережной Шура устало опустилась на большой камень и стала вытаскивать из-за пазухи какие-то тряпочки, моточки, ленточки; разложив свои богатства на коленях, долго их разглядывала, а потом принялась перебирать, будто вся целиком поглощена этим занятием...

На набережной работали солдаты. Они копали землю, что-то укладывали в яму и снова засыпали её.

Сквозь всхлипывания моей «бабушки» я иногда слышал и обычный Шурин голос.

— Тол закладывают, — быстро пояснила она.

Скажет слово — и опять за своё.

Совсем рядом, справа и слева, наши войска

держались за каждый кусок земли — стояли на-
смерть!

Там, за развалинами — у Солёной пристани и к заводам,— берег Волги был в наших руках; у Мамаева не прекращался бой за железнодорожное полотно. А в другой стороне, там, где Сталгрэс и Судоверфь, наши войска защищали огромный район непобедимого города. Только в центре немцы сумели выйти к Волге.

Куда ни посмотришь — всюду дымилась земля и к небу поднимались высокие столбы чёрного дыма.

Прямо на нас шёл гитлеровец. Длинный, как жердь, в голубоватом наглаженном френче, в сверкающих, без единой морщинки сапогах, в высокой фуражке с лаковым козырьком, всем своим напыщенным видом он так и говорил: вот я какой! В такт его шагам покачивался кортик с нарядным шнурком у рукоятки.

Как я жалел, что нет сейчас где-нибудь поблизости нашего снайпера! Хоть бы камнем угодить в такого гусака!

Он остановился в нескольких шагах от нас, вертя в руке лайковую перчатку.

— Если ты, старая каналья, не уберёшься из запретной зоны...— крикнул он по-русски...

Шура не дала ему закончить:

— Уйду, уйду, дайте, господин офицер, отдышаться.

Шура поднялась с камня, взмахнула рукавами чёрного балахона, будто собиралась улететь. Она заторопилась и начала совать тряпки в дырявую сумку.

Гитлеровец успокоился и, выпячивая грудь, пошёл дальше, туда, куда тянулся подвешенный на тонких жердях красный телефонный провод и где у входа в блиндаж грелась на





солнце породистая рыжая собака с длинной мордой.

Шура опять заговорила сама с собой. Она несла какую-то чепуху и даже стала что-то тихонько напевать.

Мы шли наверх, удаляясь от Волги. Вот двор разрушенной школы. Шура оглянулась и не по-старушечьи, а по-комсомольски прыгнула в пустой окоп. Я — за ней.

Шура больше не плакала и не смеялась. Она натёрла лицо какой-то мазью из баночки.

— Это я морщины делаю. Если задержат, скажем, что идём на бахчи,— сказала Шура.

Через огромное отверстие в стене было видно всё, что делалось по ту сторону оврага.

— Видишь вспышки? — спросил я Шуру.— Это их орудия!

Она осталась довольна:

— Каким наблюдателем стал!

Шура раньше любила молчать. Но теперь, когда пришлось ей стать старухой, она часто первой начинала разговор. И всё про самое разное: то спросит, умела ли моя мама шить на швейной машинке, то об отце своём расскажет. Она тоже гордилась своим отцом.

Сидя в окопе, мы вспоминали борщ со сметаной, пирожки с картошкой...

Наговоримся досыта, вылезем из окопа — и снова в путь, «бабушка» и «внучек».

Так продолжалось несколько дней.

За железной дорогой, в подвалах и щелях, оставалось ещё много мирных жителей. Днём, когда всё дрожало от гула и грохота, мы часто заходили в подвалы. Мы с «бабушкой» искали то маму, то родственников.

Несколько раз мы доходили до Волги, где

затонула баржа с зерном. К этой барже и к разбитому элеватору тянулся поток голодных людей.

Днём было не по-осеннему жарко. В стороне стояли фашисты, одетые в короткие широкие штаны и распахнутые рубашки без рукавов, будто собирались на пляж, полежать на песочке.

Но они забавлялись не на пляже, а здесь. Из чёрных автоматических пистолетов то стреляли нам под ноги, то поверх голов. Пули стучали по железобетонной башне элеватора.

Один из забавников не стрелял. Он расставил ноги, чуть наклонился, держась обеими руками за голые коленки, и, не скрывая удовольствия, наблюдал за происходящим. Он громко хихикал и даже взвизгивал от радости, когда кто-нибудь у элеватора падал или начинал метаться по сторонам.

А люди всё ползли и ползли за мокрым зерном. Дорога́ была каждая горсть. Зерно сушили, тёрли кирпичами, размалывали на ручных мельницах — на кашу и лепёшки.

Мы тоже набрали зерна. С ним было безопасней возвращаться обратно разными окольными путями.

И так мы узнавали одно за другим... На Медведицкой улице меж развалин — дальнобойные орудия; тяжёлая пушка — на углу Днепровской...

На Аральской улице, на углу Невской и Медведицкой висели страшные объявления. «Бабушка» читала их вслух, как-то по-особому распевая, будто молилась: «Кто здесь пройдёт, тому смерть».

Только один раз нас задержал грузный немец, похожий на бочку. Мы попались ему на

глаза, когда он отдыхал в большом, обитом плюшем кресле, поставленном у входа в блиндаж. Он остановил нас, оглядел с головы до ног и с удовольствием крикнул. По-видимому, мы ему понравились. Он разговаривал с нами без переводчика и почти без слов. По его приказанию из блиндажа вынесли мешок картошки, и он сам вручил нам два ножа.

Приказ был ясен — чистить картошку!

Вначале он несколько раз подходил, выхватывал нож из моих рук и показывал, как надо срезать кожуру...

Прошло много часов, а мы всё сидели на одном месте. Много начистили, но в мешке оставалось ещё больше.

Толстяк то исчезал в блиндаже, то снова устраивался в кресле. Усядется поудобнее, и тут же начинает клевать носом, опуская жирный подбородок на грудь. Он вздрагивал при сильных залпах, сползал с кресла, но не просыпался, продолжая всхрапывать.

А мы чистили и чистили. Мои руки почернели, а кожа ползла из-под ножа совсем не такая тонкая, как требовал немец.

Я сидел рядом с Шурой, и она тихо-тихо говорила со мной.

— А помнишь Женю-патефончика?

Я даже удивился — разве можно забыть такую певунью.

Шура наклонилась ко мне и сказала совсем тихо:

— Не повезло ей. Убили, когда линию фронта переходила. Одна у родителей. На Дар-горе жили.

У меня из рук выпал нож, и так не хотелось снова за него браться!

Хоть бы подавились они этой картошкой!

С ненавистью посмотрел я на спящего повара, на его отвисший подбородок.

Только в сумерках справились мы с картошкой.

Толстяк был доволен. Мы набили свои сумки картофельными очистками. Немец разрешил нам сверху положить и несколько картофелин. Он, как мне объяснила Шура, даже пожелал нам спокойной ночи.

«Это он такой потому, что выспался», — подумал я тогда.

Мы шли в Дзержинский район.

Быстро темнело осеннее небо. Разрывы мин и снарядов освещали нам путь.

Ночью чуть стихал грохот, и непривычная тишина больно отдавалась в ушах.

А вот и подвал, в котором мы как-то ночевали. Здесь мы выложили не только очистки, но и картофелины.

Пристроив меня на ночлег, Шура всегда куда-то на несколько часов исчезала. Я уж к этому привык и всё-таки боялся: а вдруг она не вернётся?

Так и случилось.

Меня уговаривали, обнадёживали, со мной были ласковы, но шли часы, а «бабушка Наталья» не приходила. А за часами потянулись дни...

«Держись тех, кто тебе по душе, и сам, кому можешь, помогай», — всегда говорила мне Шура, и я это крепко запомнил.

Как-то само собой получалось, что я пристраивался к тем, у кого были маленькие дети. Я любил их нянчить и всегда при этом вспоминал Олю.

В ПОДВАЛЕ

От грохота вздрагивали толстые, холодные стены подвала. Люди сбивались к середине, а самые маленькие жались друг к другу.

Все мы были в лохмотьях, лежали на тряпках, изодранных матрацах, подкладывая под голову то вывалившуюся из них вату, то собственный локоть.

По ночам крысы вылезали из нор и поднимали возню.

Одна старуха и днём и ночью сидела на узле. Она подзывала к себе женщин и твердила им одно и то же:

— Там бельё моё предсмертное, десять лет назад справила. Кто же теперь оденет меня, когда помру?

Всё чаще и чаще, распахивая настежь двери, заглядывали в подвал фашисты. Они искали патефон и пластинки.

— Вам не музыку, а бомбу хорошую,— сказала, вздохнув, старуха.

Поняли ли её гитлеровцы, или просто голосом своим старуха обратила на себя внимание, но один из них подошёл к ней и ударом ноги выбил из-под неё узел.

Старуха уцепилась рукой за узел.

— Русский партизан! — крикнул гитлеровец и выстрелил из автомата в старуху.

Она грохнулась на каменный пол. А он вместо патефона поволок за собой узел.

Когда наши женщины вытащили тело старухи из подвала, они наткнулись на узел, валявшийся на земле, а не遠далеке лежал с оторванной ногой любитель музыки, убитый осколком снаряда.

Женщины развязали узел. Мне почему-то запомнилась скомканная, но очень длинная белая рубашка в складочках и кружевах. А старушка была невысокая. Её похоронили, как она просила.

В подвале жили две сестры — Галя и Валя Олейник. Около них на полу стоял большой кожаный чемодан.

Галя была уже большая; она окончила школу перед самой войной. Галя рассказывала: у них в школе был выпускной бал, затянувшийся за полночь. А утром она узнала, что началась война.

А Валя ещё нигде не училась, она была детсадовская.

Вот эти сёстры больше других пришлись мне по душе.

Галя ничего не знала об отце. А мать погибла в первую же большую августовскую бомбёжку. Галя работала тогда сандружинницей, а потом и бойцом противовоздушной обороны.

Когда гитлеровцы приходили в подвал, Галя старалась не попадаться им на глаза.

Однажды фашист обратил внимание на её большой кожаный чемодан. Валюша сидела на чемодане. Фашист согнал её и открыл крышку. В этом чемодане было всё, что Галя смогла унести из дома.

Он начал копаться в вещах, схватил в охапку платья и вязаную кофту. Одно из платьев, голубое, было сшито для выпускного бала.

Галя даже не подошла к чемодану, а когда грабитель ушёл, сказала:

— Пусть подавится!

На ночь она укладывала сестрёнку на чемодан, который был Вале в самый раз, даже если она вытягивала ножки. Утром, просыпаясь, се-

стра первым делом спрашивала Валью, что снилось.

Один раз Валя во сне видела яблоко, в другой — что поймали Гитлера и посадили его в клетку.

Однажды Валя проснулась ночью.

— Может быть, яблоко приснилось? — спросила её Галя.

Но сестрёнка вместо ответа показала на горло. Видно, ей было тяжело говорить. Галя положила ей на лоб руку, а потом для сравнения потрогала и мой лоб. Мой был холодный, а Валя горела. Я слышал, как из её рта вылетали хрипы, и вспомнил раненого Колю...

Я сказал Гале, что надо сделать веер и размахивать им над Вале́й. Так ей будет легче. Но Галя меня не послушала. Она, должно быть, думала, что всё обойдётся.

Наступило утро, а Валя, бледненькая-бледненькая, всё так же тяжело дышала; она заплакала, когда сестра дала ей пить: так больно было ей глотать.

— Ангина у неё,— сказала одна из женщин.

Женщины посоветовали Гале позвать врача. А она всё медлила. Про эту женщину-врача уже не раз говорили у нас в подвале. Рассказывали, что она очень распорядительная, толковая, верно болезнь определяет, а на собраниях раньше выступала так, что все заслушивались. А теперь про неё шёл разговор, будто она сдружилась с гитлеровцами, не горюет и не скучает, а больных посещает только за плату. Жадная!

И всё же Галя позвала её.

Она пришла без халата, в бархатном платье, будто собралась в гости или в театр. Врачиха сначала показалась и мне добродушной.

Она подошла к чемодану. В подвале и днём

всегда был полумрак, и Галя зажгла фитилёк. Врачиха заглянула в Валушино горло и сразу же сказала:

— Дифтерия!

— Елена Алексеевна, помогите девочке. У неё, кроме сестры, никого нет,— попросила худенькая черноволосая женщина, которая работала до войны регистраторшей в той же амбулатории, где и врачиха.

— Помогу, конечно, но знаете, это будет дорого стоить. А совзнаки теперь не в ходу.

— У них же ничего нет. На вас вся надежда! — сказала регистраторша.

— Что же делать, такое время,— ответила ей Елена Алексеевна.— Сыворотку трудно достать.— А Гале сказала: — Если не ввести девочке сыворотку, она погибнет. Решайте сами. Мне нелегко будет достать сыворотку. Придётся обратиться в немецкий госпиталь, а за это надо кое-кого отблагодарить.

— Но я не знаю, чем расплатиться,— расстроилась Галя.

— Какое-нибудь колечко, часики, браслетик... Зачем вам теперь безделушки?

— У меня нет ни колечка, ни часиков.

Не помня себя, я закричал:

— Есть! Есть часы!

Я достал отцовские часы, завёрнутые в тряпочку, и протянул их Гале. Мой папа словно был рядом со мной. Он одобрительно кивнул мне головой.

— Возьмите,— сказала Галя, передавая часы врачихе.

Та разочарованно посмотрела на часы:

— Мужские...

Но всё же завела их, послушала ход и



опустила в кожаную сумочку. Потом повернулась и пошла к выходу. Но на ходу бросила:
— Ждите!

«Придёт или не придёт?» — думал я. Должно быть, о том же самом думали и взрослые.

Врачиха вернулась с гитлеровским офицером. Невысокий, в длинной широкой шинели, напоминавшей юбку, он сделал несколько осторожных шагов, будто боялся оступиться, зажег электрический фонарик и молча начал шарить им по углам, а когда всё осмотрел, потушил и повесил его на пуговицу.

Этот гитлеровец уже не раз сопровождал Елену Алексеевну. В подвале прозвали его кто герр-кавалером, а кто герр-компаньоном. А регистраторша со знанием дела пояснила:

— Аптекарь, а ирод.

Можно было не сомневаться: этому «герр-ироду» врачиха и передала отцовские часы. Многие немецкие офицеры собирали часы и для коллекции, и для коммерции.

Врачиха разложила на ящике какие-то пузырёчки, попросила Галю ей помочь и как ни в чём не бывало подозвала свою бывшую сослуживицу:

— Подержите девочку.

Валю положили на животик.

Врачиха наклонилась над больной. Подняла рубашку. Я увидел в руках врачихи острую иглу. «Ведь может и заколоть», — подумал я и закрыл глаза.

Должно быть, прошла лишь минута, но какой долгой она мне показалась! Я услышал, как Валюша тихо заплакала, и раскрыл глаза.

Врачиха держала в руке вату.

Офицер ткнул носком сапога кожаный чемодан.

— Гонорар! — произнёс он вызывающе.

Все молчали. Валя поднялась с чемодана. Она дрожала, такая измученная и маленькая рядом с толстой Еленой Алексеевной.

Немец вытряс всё, что было в чемодане, на пол, а потом отобрал то, что ему приглянулось, распахив «гонорар» в бездонные карманы серой шинели. А какую-то штуковину (я не успел её разглядеть) быстро передал врачихе. Они действовали заодно.

— Рука руку не моет, а марают. На беде наживаться! — вырвалось у регистраторши. Она, видно, испугалась своих слов, закусил губу и отошла в сторону. Врачиха отряхнула бархатное платье и в полной тишине, ни на кого не глядя, поплыла к выходу.

На следующий день Валя уже не была такой бледной; она ровно и легко дышала, просила есть, и не жаловалась на боль в горле, и даже рассмеялась, когда я засопел, выпучив глаза, и чихнул, стараясь передразнить одну противную рожу.

Вечером в подвал пришли полицаи.

Они приходили группой по несколько человек, переглядывались, ухмылялись, что-то высматривали. Они будто хвастались своими нарукавными повязками и немецкой формой.

Их боялись и ненавидели.

На этот раз они увели с собой регистраторшу «на допрос в комендатуру».

...Про большой дом, в котором помещалась комендатура, я уже многое слышал. Там тоже был подвал, и в нём до прихода фашистов укрывались жители. Теперь из этого здания доносились приглушённые крики и стоны.

Уже давно говорили, что гитлеровское командование предлагает всем взрослым, начиная с

четырнадцать лет, добровольно отправиться на работу в Германию. Среди наших не нашлось добровольцев.

— Тебе ещё больше пяти лет ждать такого счастья,— говорила мне Галя.

Но из подвала нас начали выгонять вместе — больших и маленьких. Никто не хотел уходить. А Галя как раз сварила суп из конины. Едим суп, а нас выгоняют.

Галя сказала:

— Спешить некуда, хоть наедемся перед дорогой.

Гитлеровцы стали тащить кого за руку, кого за волосы.

— Не трогать! — закричала Галя, когда один из них направился к нам.

У него в руке был автомат, а у Гали — только котелок с супом, но в её глазах была такая решимость, что немец издал лишь какой-то возглас, по-видимому выражавший удивление, и отошёл. Галя стала собирать вещи. Закутала сестрёнку в шерстяную кофту.

Гитлеровцы через окно бросили в подвал зажжённую серу. Повалил белый дым. Нечем стало дышать.

Галя подняла сестру, и мы побежали к выходу.

Глава тринадцатая

ПО ЗАХВАЧЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Куда ни посмотришь, всюду такие же, как мы: с котомками за плечами, с малышами на руках.

Все бледные, землистые; в лице ни кровинки. И шли мы так долго-долго.

Ночью нам разрешили сделать привал на мёрзлой земле.

Меня спасала ватная стёганка, а Валю — кофта. Как ни заворачивала Галя длинные рукава кофты, они раскручивались и повисали.

А сколько людей были чуть ли не в майках. На привале они не могли стоять на одном месте.

Кто-то пытался развести костёр, и Галя уже раздобыла жестянку, чтобы разогреть воду, но подошёл гитлеровец и раскидал хворост. Нас опять погнали. А куда?.. Все говорили — в Германию. Переводчик объяснил, что будет отправлен транспорт сталинградских девушек и женщин, изъявивших желание работать в Германии.

Говорили также, что командование решило выгнать из города всех мирных жителей.

До Германии было ещё ой как далеко. Идёшь целую вечность, а обернёшься, всё то же — огромное зарево над Сталинградом.

...На другом привале переводчик объявил, что сейчас подадут машину, но с вещами никого не посадят.

Все узлы, корзины и чемоданы остались на земле.

— Облегчили, — усмехнулась Галя.

На машинах мы ехали долго, потом снова шли пешком, пока не увидели перед собой рельсы.

Объявили посадку.

Мы залезли на платформу. Галя усадила нас у самого борта.

К середине уже нельзя было протиснуться. Пронзительно засвистели. Всё вздрогнуло и закачалось. Застучали колёса.

Галя одной рукой придерживала платок, что-

бы он не слетел с головы, а другой крепко прижимала к себе Валю. А я ухватился за край платформы. Когда-то на ней перевозили уголь, и теперь ветер хлестал в лицо угольной пылью.

Поезд остановился в степи. Конвоиры торопили, чтобы мы скорей освободили платформы.

Нас согнали за колючую проволоку в развалившиеся сараи. Во все щели со свистом дул холодный степной ветер. Земля в сарае была покрыта птичьим помётом. На нём уже лежали люди. Легли и мы. Галя расстелила платок. Накрылись моей стёганкой.

Казалось, что мы ещё едем.

Очень хотелось есть и пить. Валя просит, а сестра говорит «сейчас», но ничего не даёт.

Только на следующий день она принесла кусок тыквы, который поделила на троих.

Валя поела тыквы и вдруг спросила:

— У тебя есть деньги? Дай мне!

— Зачем? — удивилась Галя.

— Там Ленин нарисован. Хочу посмотреть.

Но у Гали не было денег.

Вскоре её куда-то вызвали. Мы ждали и гадали, что ещё раздобудет Галя. Она пришла очень расстроенная, держа какие-то листки.

— Ну, вот и проштемпелевали,— сказала она, опускаясь наземь.

Долго молчала, а когда пришла в себя, вскочила, заторопилась, раздобыла иглу, стянула Вале дырку на чулке; достала гребень и начала расчёсывать нам волосы. Они у меня слиплись, а Галя так старалась, что я то и дело морщился.

Потом она принесла целую охапку соломы, разостлала её и примяла.

Когда мы легли все рядышком, мне показалось, что я ещё никогда не лежал на такой мягкой перине. Галя обняла Валюшу и меня

к себе пододвинула. Ещё недавно мы поёживались от холода, а теперь словно какой-то добряк набросил на нас стёганое одеяло.

Нас разбудили громким окриком. Так не хотелось вставать! И я вспомнил про папины карманные часы. Вот сейчас все бы спрашивали у меня: который час, а мне это, признаться, очень нравилось.

Мы собрались раньше других.

— Что бы ни случилось, Гена, рук не опускай,— сказала Галя.

Нас вывели из сарая и погнали по узкой дорожке через лагерь.

Светало.

У колючей проволоки выстроились гитлеровцы в шинелях. Нам навстречу строем шли солдаты с автоматами в руках. Офицер скомандовал. Они окружили нас.

Вышел переводчик и что-то пробормотал, нас начали сортировать.

Всех молодых и здоровых, кому было больше четырнадцати лет,— в одну сторону; малых и старых — в другую.

Одни плакали, умоляя не разлучать их с детьми, другие кричали и вырывались. Детские голоса слились в один вопль: «Мама!»

А фашисты, как кнутом, ударяли нас короткими выкриками:

— Цурюк! Цурюк!

Галина держала Валю на руках.

Я очень боялся отстать, чтобы не потерять их, как Олю.

— Я вернусь. Подождите немного, приеду! — крикнула мне Галя.

Рука гитлеровца потянулась за Валею, но тут Галя резко повернулась и сама опустила сестру.

— Держи Валю!



Я и не заметил, как мы оказались за спинами солдат.

Фашисты стояли как каменные. Будто ничего не слышали.

От обиды сдавило в горле, и тут заметил, что не я держу Валю, а она крепко схватилась за мой рукав. Вот молодец, такую не потеряешь! Она вздрагивала, озираясь по сторонам, но не плакала, а ещё успокаивала меня:

— Ничего, Галя скоро вернётся!

Под чужие громкие окрики и команды, под стоны разлучённых наших советских людей погнали в неволю. Люди оборачивались, что-то кричали, рвались обратно к своим.

А нас вернули в лагерь.

Валя прижалась своей щекой к моей, а потом сняла платочек с головы, накинула мне на глаза и сказала:

— Давай играть! Ты первый будешь водить.

Пришлось водить...

Всех взрослых с утра выгоняли на земляные работы. Они возвращались мокрые, озябшие, перепачканные.

Про детей же говорили: скоро и их посадят в телячьи вагоны и тоже куда-то увезут.

Каждое утро в лагерь въезжала скрипучая повозка, запряжённая крупной лошадью с коротким хвостом и широченными копытами, похожими на пеньки. Лошадью правил невысокий немец с раздутой щекой. Его руки были в чёрных резиновых перчатках. Он покашливал и время от времени покрикивал: «Ек! Ек!» Повозка объезжала сарай — собирала умерших за ночь.

Кормили нас один раз в день подгорелой жижей, а хлеб был величиной с листок.

У Вали личико стало совсем остреньким.

И ещё запомнилось одно утро. Все разом

проснулись, хотя на этот раз часовые нас не будили. Нарастая, гудела канонада. Снаряды рвались где-то далеко от лагеря, но гул и гром доносился и до нас.

Все поняли: заработала наша артиллерия. Даже у самых старых заблестели глаза. Мы слушали молча, словно боясь что-нибудь прослушать и пропустить.

Потом, как всегда, наших людей погнали на работу, но в это утро они становились на перекличку не так понуро, как прежде. Даже мы, дети, понимали: за колючей проволокой началось что-то очень важное.

Лагерные гитлеровцы так же топали подкованными сапогами, всё так же прикрикивали, но что-то изменилось в выражении их лиц.

Когда стихла канонада, снова заскрипела знакомая повозка.

«Если мы останемся здесь,— решил я,— обязательно попадём на повозку».

А как бы поступила Шура? Шура бы рискнула, Шура бы не стала ждать!

...Мы ушли днём, через главный выход. Часовой не остановил нас и не окликнул. Мне даже показалось, что он кивнул нам головой. Взрослых не выпускали. А кому мы с Валею были нужны?

И мы пошли, как говорят, куда глаза глядят.

Валя совсем ослабела: «Только, чур, не болей»,— говорил я про себя. А она всё оглядывалась — не догоняет ли нас Галя.

Степь. Я поднял колоски. Съел несколько зёрен и дал Вале.

После этого ещё сильнее захотелось есть.

Ветер дул прямо в лицо, холодный и порывистый, даже платок содрал с Валиной головы, и я его еле догнал.

Тучи совсем низко неслись над землёй. Они были намного темнее неба, как будто в них загустел пороховой дым. Некоторые из них были похожи на большие подушки, а у других — края зазубрены, как у осколков...

Валя припадала то на одну, то на другую ногу. Мы вышли на дорогу. Столб со стрелой. Мы пошли в ту сторону, куда смотрела стрела острым своим концом.

Долго тащились черепашьям шагом. Несколько раз останавливались, чтобы перевести дух. А потом нас догнал мужчина, одетый в овчинный полушубок. Он обо всём расспросил меня: откуда мы и где наши родители. Я отвечал без охоты, лишь бы дяденька не обиделся; рассказал и о том, как нас разлучили с Галей.

Он слушал внимательно, а сам только говорил «ага» и «да». Скажет, вздохнёт и добродушно покачает головой. И я решил: нам не надо от него отставать, и сильнее прежнего стал тянуть Валю за руку.

Дяденька взглянул на неё:

— Ослабла девчоночка!

Он взял её на руки и понёс. Мы свернули с дороги, взобрались на пригорок и пошли огородом. На грядке лежали огромные переспевшие огурцы.

— Вот и дошли,— сказал дяденька.

В доме почему-то были целы все окна. Между двойными рамами белела вата, разукрашенная разноцветными бумажными полосками.

В сенях стояло ведро воды и на листке фанеры лежали чёрные головки мака.

В кухне у печки, гремя заслонками, хлопотала уже немолодая, дородная женщина, повязанная платочком. Когда мы вошли, она даже не обернулась.

— Детишки из Сталинграда, брат и сестра,— сказал дяденька, снимая полушубок.

— «Детишки из Сталинграда»! — передразнила хозяйка. Она повернулась и смерила нас взглядом с головы до ног.— Ну, чего у порога стали? Как звать?

Валя опередила меня, ответив за обоих.

Видно, хозяйка была чем-то встревожена и возмущена. А тут ещё мы...

— Всё шляешься, пропадаешь! — накинулась она на мужа.— А мне за всё отвечать! Были у нас чёрт да сатана, что звери вошли, вынь да положь, а откуда возьмёшь?!

И она рассказала, как приехали гитлеровцы и всё обшарили — и в подполе и в чулане.

— Один-то долго здесь лопотал. Всё краску хотел продать; а я ему — у нас своей сажу много. Половики не дала, а квашню унесли.

Дяденька в ответ опять произнёс только своё «да» и начал снимать с Вали промокшие ботинки. Он положил их на лежанку, а Валу усадил на табуретку, поставил таз и начал намыливать ей ноги.

— Думала, обойдётся... А всё из-за тебя! Припрятать надо было, закопать, как люди делают, а не ушами хлопать! — ворчала хозяйка, выгребая угли из печки.

А я так обрадовался теплу! Прямо не верилось, что всё это происходит на самом деле. Так и хотелось прислониться к печке и погладить рукой лежавшие на полу ровные, сухие поленья.

Хозяйка положила нам в глиняную миску ячменной каши и дала по солёному огурцу.

— Похожи,— сказала она, глядя, как мы заработали ложками.

Хлеб ржаной, нарезанный большими ломтями, лежал перед нами. Как до войны.

А хозяйка всё хлопотала и приговаривала:
— День завтра воскресный.

Перед вечером зажгли лампадку в углу. Ставни закрыли. Лампадка замерцала, как звёздочка. И висячую керосиновую лампу зажгли. Ещё раз к столу позвали — чай пить из самовара, с постным сахаром. Я даже вспотел. И от чая. И от удовольствия.

Чайник для заварки был такой же, как у нас дома, — с отбитым носиком. Мама всё собиралась новый купить, но «курносый» всё равно появлялся на столе.

Хозяйка пила чай из блюдечка и всё вспоминала бессовестных, что квашню и продукты унесли.

— Ведь не чужими руками нажили.

Из её слов я узнал, что она второй раз замужем. Первый муж её был, как она сказала, дьяконом; второго же своего мужа, дяденьку, который нас привёл, она всё время поругивала, особенно за то, что был он дорожным мастером, и на разных снимках с начальством снимался вместе, и грамоту ударника забыл со стены снять. Вот гитлеровцы и придрались.

— Как заладили — «комиссар!» — еле отбо-
ярилась.

Она всех «комиссаров» сняла со стены, а чтобы пусто не было, достала из сундука карточку, на которой снята была с первым мужем после венца, и повесила её. Держат друг друга под руку; на голове у неё — веночек, в руках — букет; у него волосы до самых плеч.

— Вот и пригодилась моя молодость, — сказала хозяйка и гневно посмотрела на дяденьку.

А он молчал, как воды в рот набрал.

Хозяйка взбила подушки и уложила Валю на

свою кровать, а мне постелила на лавке в кухне.

Всё было непривычно: и крыша над головой, и лоскутное одеяло, а главное, настоящий сон — в тепле.

А где сейчас Оля, Шура, Галина, Вовка, Павлик?

В ушах всё ещё звенел ледяной ветер. Потом ветер затих, и я услышал шёпот. Это разговаривали хозяева:

— Сами по миру пойдём. Говорила тебе — закопай, а ты на своём настоял и ещё приташил. Зачем нам брат с сестрой? Обьедят они нас. Только ангелы с неба не просят хлеба. Был бы один или девчонка одна.

Хозяин только вздыхал. Потом он что-то тихо сказал.

Хозяйка ответила ему совсем громко:

— Не одни они, горемычные, маются. Как привёл, так и отведёшь. Двоих не оставлю!

Рано утром, когда все в доме спали, я поднялся, взял с полки ломоть хлеба, натянул стёганку и вышел. Я уходил не оглядываясь. Теперь Валу не выгонят.

По дороге я сорвал два жёлтых огурца с грядки и с трудом втиснул их в карман стёганки. Огурцы, должно быть, придали мне воинственный вид. Недаром Вовка называл снаряды огурцами.

Холодно после тепла показалось. Я невольно съёжился.

Я не чувствовал себя виноватым перед Вале́й. Хотя чужое жильё — а жильё и дядька заботливый. Мне почему-то стало его даже жалко: такой большой, а живёт, как сирота.

«Был бы он один или девчонка одна...»

Вот я и один. Только бы не сбиться с пути и выйти на дорогу. Я прибавил шаг.

Из белёсого мрака выплывали то колючий кустарник, то разбитые телеги и повозки.

Коченели руки, и я то и дело согревал их за пазухой.

Когда стало светлей, я вышел на дорогу и увидел на столбе немецкую стрелу — значит, Сталинград там!

Я залез в придорожную канаву и начал вести разведку. По дороге, рыча, проносились грузовые автомашины. Слышно было, как впереди громяхают танки.

Промелькнули бензозаправщики. А потом пошли автомашины, наполненные солдатами.

Как шальной, пролетел широкий штабной автобус, а вслед за ним — грузовики, накрытые брезентом.

Одна из таких машин остановилась у самой обочины.

Шофёр раскрыл капот, что-то посмотрел, а потом пошёл вперёд по дороге.

В кабине же грузовика сидели два немца и громко разговаривали. Вдруг из кабины понеслись звуки музыки. Это они завели патефон.

Одна из пластинок была как будто про меня:

Кто привык за победу бороться,

С нами вместе пускай запоёт:

«Кто весел — тот смеётся,

Кто хочет — тот добьётся,

Кто ищет — тот всегда найдёт!»

Я вылез из канавы, оглянулся, подошёл сзади к грузовику. Подпрыгнул, ухватился рукой за высокий борт и с трудом вскарабкался. Потом приподнял брезент и юркнул под него, на ящики.

Машина долго не трогалась с места. К грузовику кто-то подошёл. Я испугался: как бы он

тоже не полез в кузов. Услышал, как булькает вода. Значит, шофёр вернулся. Машина задрожала и понеслась.

Даже под брезентом было очень холодно. От «весёлого ветра» у меня горело лицо и трескались губы. Я уцепился рукой за ребро ящика и крепко держался.

Несколько раз грузовик замедлял ход. Что, если остановится и немцы стащат брезент?..

«Скажу, маму еду искать,— решил я.— А будут приставать, дам огурец».

Машина несколько раз останавливалась, но ненадолго.

Когда же шофёр заглушил мотор, я выглянул из-под брезента, увидел развалины и услышал привычный грохот и свист.

Даже местность оказалась знакомой: недалеко отсюда Красные казармы.

Я ухватился рукой за борт, перелез через него, повис, спрыгнул.

Быстро свернул в сторону и снова зашагал по знакомым кварталам, будто и не покидал Сталинград.

Глава четырнадцатая

ТИШИНА И КАНОНАДА

Всё так же у берега Волги не прекращалась битва, дымилась земля и развалины озарялись бледными вспышками.

Гитлеровцы уже не пыжились. У них и походка изменилась. Стали торопиться, будто кто их подгонял или заставлял бегать наперегонки.

И только в Дзержинском районе, на при вокзальных улицах всё ещё было как в тылу.





Здесь стояли их кухни, склады, мастерские, маскировались машины.

А в блиндажах, землянках и подвалах всё ещё жили наши: старики, дети, больные. Им больше не грозили угоном. Куда угонять, когда сами гитлеровцы окружены.

Мы уже хорошо знали о том, что началось наступление наших войск.

Немецкие солдаты на все лады стали повторять такое милое всем нам слово «капут».

Теперь я искал не только сестрёнку, но и «свою бабушку Наталью».

В блиндажах было много стариков и старух. Никогда раньше я не видел столько старых людей. Глаза у них впали и помутнели, но все они были очень любопытными.

Куда ни придёшь, начинали расспрашивать, что наверху делается; спрашивали, уже не обращая внимания на то, что я маленький. Многим я непременно кого-то напоминал. И со мной делились последним куском.

Однажды, когда я в поисках пищи рылся в помойной яме, ко мне пристал какой-то узкоплечий человек.

— Давай вместе искать,— сказал он и закашлялся.

Вскоре я наткнулся на целую кучу ещё тёплых конских кишок.

Дядька обрадовался, подскочил и сразу же заторопился.

Я нёс кишки, а он всё время забегал вперёд, показывая дорогу. Звали его Агафоном. Он, должно быть, боялся, как бы я не убежал от него с драгоценной ношей.

Мы шли, прижимаясь к развалинам, перелезая через наваленные груды щебня, а по мостовой шагали гитлеровцы.

Отсюда было совсем близко до площади, где над развалинами возвышалось уцелевшее здание 3-го Дома Советов — военная комендатура.

Мы спустились в полуподвал. Невысокая, очень худая женщина с грудным ребёнком на руках первым делом посмотрела на кишки.

Дядя Агафон познакомил меня с ней и сказал:

— Ульяна у нас всеми карточками заведует. Только отоваривать нечем. Будешь у неё агентом по снабжению.

Меня встретили, как желанного гостя.

Я же по достоинству оценил пышущую жаром плиту, уставленную горшками с водой.

На досках лежали люди, прикрытые рваным цветным ковром; вскоре и я улёгся рядом с ними.

Здесь определилась моя новая специальность.

Ежедневно, когда чуть светало и затихал обстрел, я отправлялся добывать пищу.

Захватчики доедали свою конницу. Каждая лошадь была ободрана до самых костей. Кишки и кожу они ещё выбрасывали, и надо было вовремя их обнаружить. О конине я уже и не мечтал.

Все обитатели полуподвала с нетерпением ждали моего возвращения. Когда мне удавалось добыть кости, тётя Ульяна варила холодец. Кожу она долго палила перед варкой и промывала кипятком.

Стало трудно и с водой. Ударили морозы. Волга покрылась плотной коркой льда. Первый снег недолго сверкал белизной. Он почернел, посерел и покрылся ржаво-бурыми пятнами. Снег заменял нам воду. Глотаешь снег, а всё равно пить хочется.

Разыскивая съестное, я чувствовал себя по

крайней мере артиллерийским наблюдателем, только без стереотрубы. И мне надо было всё видеть, да так, чтобы самому оставаться незамеченным.

Всё трудней и трудней стало находить еду.

Я бродил неподалёку от здания военной комендатуры. Там стояли кухни. Гитлеровцы около них не были такими голодными, как другие. Там чаще можно было достать отбросы.

Как-то я увидел — солдат комендатуры вылил огуречный рассол.

Я выждал и, когда можно было подойти ближе, дощечкой собрал замёрзший рассол. Тётя Ульяна очень обрадовалась, у нас ведь не было соли.

— Слёзы солёные,— говорила Ульяна,— подсолила бы, а слёз нет.

— Наши слёзы не солёные, а горькие,— возразил ей кто-то.

— А им ещё горше будет. Узнают, почём фунт соли,— сказал дядя Агафон.

Стоило ему только услышать знакомый рокот наших дальних бомбардировщиков или ночников, он начинал тихонько насвистывать авиамарш.

Ревут моторы, а он свистит.

— Эге! Слаба кишка! Зашатались,— говорил он под гул снарядов.

В августе, когда начались сильные бомбёжки, дядя Агафон лежал в больнице. Выскочил он оттуда в халате, побежал к дому, а там одни обломки. У дяди Агафона вся семья погибла. Он об этом никогда не говорил. Мне тётя Ульяна рассказала. Неладно было у него со здоровьем. Много болезней к нему привязалось. Лежит, бывало, у печки, губы кусает, за грудь рукой схватится, под глазами мешки. Но с того дня,

как мы узнали из листовки, что гитлеровцы окружены под Сталинградом, он словно выздоровел.

Вернулся я как-то со своей «охоты», а дядя Агафон меня спрашивает:

— Ну, молодой человек, что слышно на театре военных действий?

Я никак не мог понять, что это за театр? А дядя Агафон засмеялся:

— А разве ты не заметил, что декорации меняются?

И объяснил мне, что уж давно местность, где происходят сражения, называют театром военных действий.

Неудачно это придумано: какой это театр? Но что происходит в этом театре, мы скоро научились угадывать по поведению немцев.

Один раз я видел, как немецкий солдат попался на глаза какому-то гитлеровскому начальству. В чёрном блестящем плаще начальник вышел из машины и, окружённый офицерами, направился к блиндажу, куда со всех сторон тянулись провода. Из блиндажа то и дело выбегали военные с бумагами и папками в руках. Все, кто встречался с этим высоким, вытягивались и застывали на месте. А находившийся на посту солдат стоял к нему спиной. На его голову была натянута смятая смешная пилотка. Он, видно, не слышал ни громких возгласов, ни шагов. Он стоял, поёживаясь от холода, втянув голову в поднятый воротник тоненькой, рваной шинели, переминался с ноги на ногу, дул в кулак, разжимал и сжимал пальцы и даже не обернулся, когда с ним поравнялся «крупный калибр». Тот так гаркнул, что солдат чуть не свалился.

Важный чин пошёл дальше, а следовавший

за ним офицер носком сапога с силой ударил солдата.

Мне запомнилось его лицо: он моргал глазами — они слезились, и слёзы размазались по его небритым белёсым щекам, по губам, покрытым лихорадкой.

А мне в стёганке было не холодно. Я раскрутил её длинные рукава, они чуть не доставали до земли, но зато заменяли рукавицы.

Пошёл снег. Всё стало белым.

Спрятавшись в развалинах, я смотрел через оконную нишу первого этажа, не сводя глаз с того места, куда однажды повар из комендатуры вылил огуречный рассол.

Из подъезда гитлеровский офицер вывел на снег босую женщину и начал бить её нагайкой по голой спине.

Я отвернулся, когда услышал, как женщина застонала. Потом её увели.

Прошло немного времени, и меня окликнул парнишка на костылях. Я уже несколько раз встречался с ним. Несмотря на костыли, он рыскал повсюду.

— Видал? — спросил он меня. Я кивнул головой, а он рассердился: — Ничего ты не видал! Вылезай, посмотри на балкон.

Я вылез и посмотрел. Та женщина стояла на балконе, прислонившись к перилам. Гитлеровец что-то кричал ей в самое ухо. Ветер разметал её волосы. Женщина резко повернула голову, и мне показалось, что она похожа на Шуру.

...Потом парнишка на костылях рассказал, что эта женщина осталась жива. И у нас в полуподвале говорили, что её, нагую, после допроса, бросили в холодную камеру, но она не замёрзла, а убежала. Одни видели её под тун-

нелем на улице Огарёва; другие же слышали, что её укрыли где-то на Хопёрской...

Захватчики с каждым днём становились всё злее. Всех ощупывали, выворачивали карманы, заглядывали под кровати, рылись в мусоре.

Гитлеровцы поймали и съели лохматого жёлтого Дружка — дворняжку, жившую у нас в полуподвале.

Запомнился мне один грузный немец. Очки в золотой оправе, глаза как щёлки, и маленькая голова, будто от другого мужчины. Макушка голая. Он всё время закутывал шею длинным малиновым шарфом. Голова-то маленькая, а рот большой и жадный.

Он протянул вперёд указательный палец, словно хотел измерить температуру воздуха.

Я в это время достал стеклянную банку — посчастливилось найти на помойке. К краям банки присохли остатки варенья. Я пытался сковырнуть их мокрым пальцем. А немец с маленькой головой дул на свой палец: «Бр... Фр». Открыл рот.

— Пломба очень холодно, — сказал он по-русски. Дотронулся до головы и задрожал: — Волос холодно!

А потом наставил на меня свои блестящие щёлки и, увидев, что я облизываю палец, вырвал банку из моих рук, разбил её и начал оближивать осколки.

Как досадно было, что он завладел банкой!

Мне очень хотелось есть... Кружилась голова, и я часто глотал слюну.

Как-то вдруг разом всё смолкло.

Мы так отвыкли от тишины, что стало жутко.

Дня два было тихо. И все вздохнули с облегчением, когда снова из-за Волги ударила наша дальнобойная артиллерия.

Глава пятнадцатая

ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА

...А есть с каждым днём хотелось сильнее.

Я где-то слышал, что медведи в таких случаях сосут лапу. И я засунул пальцы в рот и представил, как поднимается пар над миской горячих щей.

Нас спасали зёрна. Ульяна их парила, на каждого приходилось по три-четыре ложки в день.

К счастью, тётя Ульяна подобрала где-то сброшенный с немецкого самолёта мешок с сухарями, припрятала его и выдавала нам по сухарю в сутки.

Жуёшь его как можно дольше, чтобы лучше насытиться. Но и сухари подходили к концу.

С каждым днём, с каждым часом всё слышней и слышней становился треск автоматов.

— Наша берёт! — говорил пожелтевший дядя Агафон, уже давно не встававший с железной койки.

Дядя Агафон приподнимался на локтях. Я стал его постоянным собеседником.

— Слышишь, какая самодеятельность? — говорил он. — Наши идут!

И всё слушал далёкие выстрелы. Это было для него единственным лекарством.

В полуподвале было тепло. Однажды к нам ввалилась большая группа фашистов. Они шагали по телам, валявшимся на полу, дрались и ссорились из-за места, расталкивая друг друга.

Не обращая внимания на стоны дяди Агафона, они уселись на его койку. Тётя Ульяна умоляла их отойти.

— Видите, больной, помирает!

Но они ничего не хотели видеть: они грелись.

Собрав последние силы, дядя Агафон приподнялся, должно быть, хотел столкнуть их с кровати. А они только и старались, как бы усесться поудобней.

Потом они схватили дядю Агафона и потащили к выходу.

— Германский солдат капут! Иван тоже капут! — крикнул кто-то из них.

Тётя Ульяна стояла поражённая, притихшая...

Один из гитлеровцев начал стаскивать с меня стёганку. Я еле держался на ногах. Он стянул стёганку, а меня схватил за волосы, приподнял и вышвырнул за дверь, наподдав ногой. Падая, я слышал, как он выругался:

— Маленький вшивая свинья!

Тётю Ульяну тоже вытолкнул из подвала. Она бегала по морозу и вся дрожала, прижимая к себе плачущего ребёнка.

Было очень холодно.

Я растирал грязным снегом то нос, то щёки; пальцы еле шевелились. А потом показалось, что руки и ноги — не мои, будто стою на каких-то подставках и вот-вот свалюсь.

Вдруг стало так хорошо, приятно и сладко!

Сильная, загорелая Шура шла мне навстречу. Не в чёрном старушечьем балахоне, а в голубой майке с белым воротничком. «Держись, Гена, держись!..»

А потом я услышал русские слова.

Еле держась на ногах, я сделал несколько шагов.

Люди в белых халатах поверх полушубков разговаривали с тётей Ульяной. Сквозь дым я разглядел на шапке человека в полушубке алую пятиконечную звезду...

Глава шестнадцатая

ПОСЛЕ БИТВЫ

Не знаю, что произошло со мной и как я оказался в блиндаже.

Вначале показалось, будто плыву куда-то и волны сами несут меня, как бумажный кораблик. Хотел шевельнуть рукой и не смог. Лежал с открытыми глазами, пытаюсь сообразить, где я и что со мной происходит.

Так ничего и не сообразил — снова поплыл.

Хотелось пить. Я закричал что есть силы, но своего голоса не услышал. Потом почудилось, что мы с ребятами на каком-то цветущем лугу в горелки играем. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

А сзади отец стоит. Сейчас наклонится и поднесёт к моим губам кружку с водой. Но отца не было, а пить хотелось всё сильнее.

Я обрадовался, когда услышал какие-то звуки, будто издалека, — пальба не пальба, канонада не канонада, а самый обыкновенный храп.

И тут над самым моим ухом прогремел голос:

— Очнулся паренёк!

Кто-то поднёс мне воды.

Какая это была вода, может понять только тот, кто всю зиму вместо воды глотал снег, безвкусный, как мел. Я и теперь всегда наслаждаюсь, когда пью воду прямо из-под крана или из колодца, прохладную и такую свежую.

Так же, как первый глоток воды, запомнил я вкус хлеба.

А потом мне налили в котелок мясных щей. Какой шёл от них пар! Это не то что три-четыре ложки запаренной ржи. Должно быть, я так опьянел от одного их запаха, что уронил ко-

телок... И язык с трудом повиновался. Хочу сказать, а слова застревают... Я бормотал что-то невнятное. Может быть, поэтому и заботились обо мне бойцы. Каждый старался сделать что-нибудь хорошее.

Надели на меня длинную красноармейскую рубаху. Рукава болтались. Тогда кто-то предложил их укоротить. Эта «операция» была произведена не ножницами, а ножом с красивой рукояткой, которым резали хлеб.

Все принимали участие и в моём переобувании.

— Видать, ты, паренёк, в пехоте служил;— прогудел боец с очень громким голосом. Он выкинул мои разлезшиеся ботинки из блиндажа, завернул мои ноги в тёплые портянки, а потом сунул их в кирзовые сапоги. Сам же он прыгал на одной ноге, потому что другая была забинтована.

— Шире шаг!

Я попробовал шагнуть, но ноги подкосились. Боец вовремя подхватил меня, усадил к себе на колено и дал мне свою зажигалку, и я играл ею. Пальцы стали послушней, и я с удовольствием то зажигал, то тушил её.

От всех бойцов, входивших в блиндаж, пахло морозом. Они приходили такие краснощёкие, здоровые, в тёплых валенках, в коротких серых полушубках, со спущенными ушами меховых шапок. Снимали полушубки, ватники; даже у меня под головой лежал ватник.

Весело стало в блиндаже. Очень обрадовался я, услышав гармошку, не губную, как у немцев, а нашу, настоящую. А когда один из бойцов заиграл на гитаре, вспомнил артиллериста Орлова и его любимые песни...

Узнал я и о том, что фашистам совсем плохо: не пустили их к Волге.

Все знали, что я сталинградец, и называли меня Геннадием Ивановичем.

Через два дня котелок уже не выпадал из моих рук и голова не кружилась. В новых сапогах я прохаживался по блиндажу. А громкий боец всё сокрушался, что нет у меня настоящей заправочки. Он-то и раздобыл для меня поясной ремень, половину которого отрезал — бритву точить. Он очень любил бриться сам и брить товарищей. Достанет из вещевого мешка зеркальце, завёрнутое в тряпочку, разложит своё имущество да как начнёт лицо намыливать — только пена во все стороны летит.

Он больше всех расспрашивал меня про Сталинград. Я называл ему улицы, какие помнил, а он громко, как диктор по радио, повторял за мной.

Все красноармейцы прислушивались к нашим занятиям. Они удивлялись, что была у нас улица и Большая Франция, и Малая Франция, и даже Балканы.

— Не город, а атлас мира,— пошутил кто-то.

Всем нравилось, что у нас в городе есть Солнечная улица, Арбузная и даже Весёлая.

А один боец обрадовался, когда услышал про Невскую улицу.

— Моя река! — сказал он с гордостью.

А другой тут же заинтересовался, нет ли у нас Онежской улицы, и пояснил, что сам он с Онеги.

Когда я ответил, что не слыхал про такую улицу, он так огорчился, что пришлось мне поправиться:

— Должно быть, есть!

— То-то! — сказал он многозначительно.

Я уж не стал его спрашивать, где находится Онега.

Один красноармеец не поверил мне, когда я вспомнил и про улицу Шекспира. Ух и рассердился я на него! Улёгся на доски, накрывшись шинелью, а сам всё разглядывал входивших бойцов: а вдруг в таком же полушубке с поднятым воротником войдёт мой отец.

Я уже дремать начал, как услышал:

— Сюда, Соколов! Вот здесь!

Я встрепенулся, вскочил и ринулся навстречу. Задрожали губы, кровь прилила к щекам.

В блиндаж вошёл Соколов, только это был не мой папа. Хоть бы чуточку был на него похож!

Лучше бы уж он и не приходил вовсе, этот человек с моей фамилией...

Потом в блиндаж вошли две женщины. Одна высокая, в сапогах; длинная шинель перекрещена ремнями от кобуры пистолета и полевой сумки. А рядом с ней была Александра Павловна. Я сразу узнал её, и она меня тоже. Бросилась ко мне, начала целовать.

— Вот Фёкла-то будет рада! Нашёлся наш солдатёнок!

Высокая женщина, про которую Александра Павловна сказала, что она председатель районного Совета, записала мою фамилию в свою записную книжечку. А Александра Павловна, как всегда, заторопилась.

— Управлюсь с делами, приду за тобой,— сказала она.

Женщины ушли, а меня все стали про них расспрашивать. Я рассказал, что знал...

Через несколько дней Александра Павловна снова пришла.

Громкий боец одёрнул мою рубашку:

— Смирно!

Встал я по стойке «смирно», а он доволен:

— Ну, теперь похож на сталинградца!

Подарил он мне на прощание кусок туалетного мыла в нарядной обёртке и обрызгал тройным одеколоном. Я даже не успел глаза зажмурить.

Подпрыгивая на здоровой ноге, он всё говорил, что после войны обязательно приедет в Сталинград и меня разыщет. Я в этом несколько не сомневался — ведь он никуда из блиндажа не выходил, а столько знал сталинградских улиц!

Александра Павловна усадила меня в санки, погрузила на них ещё какую-то поклажу и повезла по узкой снежной тропе, вдоль берегового склона, изрытого землянками и ходами сообщения. Недавно здесь, совсем рядом, проходила линия фронта.

Я щурился от дневного света. От свежего воздуха кружилась голова.

Вдалеке что-то прогремит, потом стихнет, а земля не дрожит — успокоилась.

Тропинка вилась мимо запорошённых снегом окопов. Отовсюду торчали концы колючей проволоки.

Мы обогнали какую-то женщину с узелком в руке. Она шла пригнувшись. Александра Павловна окликнула её, а та ничего не ответила, будто и не слыхала.

Натолкнулись мы на длинную вереницу пленных.

Александра Павловна остановилась. Я хорошо помнил, как несколько месяцев тому назад «завоеватели» важно шествовали по мостовым, чётко выбрасывая вверх ноги. А теперь они еле переставляли их.

Долго шли они мимо нас. Такими я их ещё не видел. Все они сгорбились, втягивали головы



в плечи. Какие-то исцарапанные, лохматые, серые, по-бабьи закутанные в платки, маскировочные накидки, в линялые тряпки.

Александра Павловна строго оглядывала их с ног до головы.

«Как хорошо, что им так плохо», — думал я.

Пересекли мы развороченный железнодорожный путь, где раньше мимо зелёных палисадников так весело проносились трамваи и пригородные поезда.

Мы шли по земле, перепаханной снарядами и танками. Всюду валялись окровавленные бинты, красные провода для связи...

Мы обошли нераспакованные авиабомбы, завёрнутые в промасленную бумагу, коробки со средством от пота ног.

Александра Павловна ткнула ногой коробку, будто футбольный мяч.

— Не от пота, а от дури в голове им надо!

На трамвайных путях стояли изрешечённые пулями и осколками трамваи, а на железнодорожных рельсах я обратил внимание на вагоны, набитые гладко выструганными деревянными брусками для крестов.

Все скверы, площади, пустыри немцы заняли под кладбища. Куда ни взглянешь — ряд в ряд, как по линейке, торчали кресты и под каждым — десять трупов. Но мёрзлые трупы валялись и между крестами. От прежнего немецкого порядка ничего не осталось.

А вот наконец и Мамаев курган.

Александра Павловна остановилась у хибарки:

— Встречайте гостя!

В дверях появилась Фёкла Егоровна. Я сразу же заметил — совсем другие волосы стали у неё: посеклись и поредели.

— Ах ты, миленький мой, и не узнала бы тебя!

И девчонки мне показались очень худенькими. Курчавая Агаша почернела, но всё тараторила, как раньше. Юлька смотрела на меня исподлобья. Павлик же заметно поздоровел. Вовка одобрительно хлопнул меня по плечу. Я сразу же оценил его внешний вид. Вовка был вооружён с ног до головы: сзади болтался трофейный парабеллум, а на боку — футляр на ремешке.

— Ну что ж, Гена, молчишь? — обеспокоилась Фёкла Егоровна. — Александра-то наша по всему Сталинграду таких, как ты, собирает. Может, и сестра твоя найдётся.

Фёкла Егоровна разводила гороховый концентрат в банке из-под консервов. Она хлопотала у большого ящика, превращённого в стол.

Я попросил у Вовки бинокль. Так захотелось мне опять посмотреть в него! Вовка не отказал.

Я вышел из домика и первым делом навёл бинокль на небо. Оно было синее-синее. Я глядел на эту синеву сквозь стёкла долго-долго, пока не заслезились глаза. А потом посмотрел вокруг уже без бинокля.

Из-под снега торчали противотанковые надолбы, виднелись заржавленные, продырявленные пулями и осколками немецкие каски земляного цвета. Куда ни глянешь — стволы орудий, согнутые пропеллеры, чёрные трубы минометов.

Ещё недавно здесь шипели снаряды. Свистело, скрежетало. Каждый осколочек нёс смерть! И теперь ещё всё пахло гарью и дымом.

Фёкла Егоровна, Александра Павловна и Вовка вскоре ушли. Мне же поручили смотреть за малышами.

Нам было строго приказано никуда не выходить из домика, но это приказание было совершенно напрасным, так как Фёкла Егоровна заперла дверь снаружи на всякий замок.

Юлька молчала, подперла рукой голову, Агаша вначале захныкала, а потом тоже приумолкла, прильнув к небольшому оконцу. Я не знал, о чём говорить с ней, как развлекать. Стало боязно, что мы остались одни. Кругом так непривычно тихо.

Сколько месяцев жил я в несмолкаемом шуме и не вздрагивал, а теперь, когда стихло, чуть скрипнет где-то или раздастся одинокий выстрел, всё внутри обрывалось. Особенно стало не по себе, когда все мы услышали рокот самолётов. Отсюда ведь не видно, наши это или их — с чёрными крестами.

Я оглянулся и увидел на стене гитару с двумя оборванными струнами. Не напрасно, значит, волочила её за собой Юлька прошлой осенью.

Я снял гитару и, воображая себя Орловым, забренчал. Павлик первый выразил своё одобрение: бойко заболтал ножками. Я старался вовсю, играя на трёх струнах, как на балалайке. Потом взяла гитару Юлька. Но тут к ней подполз и Павлик, схватил струну и, потянув её, покраснел. Гитара задребезжала, а Павлик воинственно забарабанил по ней кулачками.

Наконец щёлкнул замок, вернулись Фёкла Егоровна и Александра Павловна. Вскоре и Вовка пришёл — принёс доски. Оказывается, все они сегодня были на площади Павших Борцов на митинге в честь победы над фашистами.

— Давно мы так много людей не видели. Стоят наши защитники, и мы рядом с ними. Только мало нас, жителей, осталось. А площадь

большая. Сколько, бывало, на ней народу собиралось! Видимо-невидимо...— рассказывала Фёкла Егоровна.— Заиграл духовой оркестр... Мучались — не плакали, а здесь удержу нет! Ну, думаю, держись, Фёкла! Теперь придётся ещё меньше спать, работы хватит!

Вовка не только рассказал, но и показал, как проходили бойцы по площади церемониальным маршем.

Вовка хвастался, что ему посчастливилось козырнуть самому гвардии генералу, который заметил его и ответил на приветствие.

— Я к этому генералу пойду служить,— выпалил Вовка.

Завидно мне стало, что всё это они видели. Может, и отец мой шагал по площади?

Голова закружилась, когда я представил себе нашу встречу. И тут же я решил: нечего мне здесь больше торчать с малышами, надо отца разыскивать.

Вовка побежал на Мамаев курган к роднику за водой. Фёкла Егоровна принялась растапливать печурку. Александра Павловна с сапёрной лопаткой в руке пошла выкопать из ямы какие-то вещи.

Вечером над Сталинградом запылали красные, зелёные, оранжевые, ослепительно белые ракеты.

На этот раз они не указывали, куда вести огонь. Они просто сияли над бывшим полем битвы, над городом, который стал героем!

Рано утром, когда все спали и чуть мерцал фитилёк коптилки, сделанной из сплюсненной в верхней части снарядной гильзы, я перешагнул через спящих, тихонько приоткрыл дверь и выскользнул из домика.

Выл ветер. Я шёл не оглядываясь. За мной

никто не бежал, никто не догонял меня, а я спешил. Скорей, скорей! Как можно дальше уйти от домика, где сейчас спали такие добрые ко мне люди...

«Почему же я ушёл?» — думал я, поёживаясь от колючего ветра. Я сбился с тропинки, упал в какую-то яму, расшиб нос, вылез и опять пошёл неизвестно куда, подгоняемый ветром.

Глава семнадцатая

ТОСКА ГОНИТ

Я шёл в ту сторону, где мы когда-то жили.

Мне казалось, что немцы снова кричат мне во всё горло: «Цурюк!», «Вэг!», что они меня сейчас схватят. Я споткнулся. Далеко отлетела шапка. Но уже развиднелось, и я увидел её на снегу, снова нахлобучил и пошёл.

С каждым шагом становилось светлей. Кругом ни одного живого человека.

И вот я у того места, где стоял наш дом. Вот здесь, на земле, лежала тогда мамина белая косынка с ярко-красным пятном. Даже пепла и уголька не осталось, всё унёс ветер и смыли дожди.

Там, где мы жили, не было ничего. Только чугунок без дна да остроконечная обгорелая труба.

Но тех, кто убил мою маму, настигла расплата. И меня они хотели убить, а теперь сами лежат здесь, раскинув руки.

Я старался больше не смотреть на мёртвых фашистов, а потом и вовсе перестал замечать их.

Я побрёл туда, где похоронили маму, но не

обнаружил следов могилы. Снаряды и здесь всё перепахали.

Прямо передо мной лежала огромная лошадь с кучым хвостом. Рядом — разбитые немецкие танки, размалёванные жёлтой, под цвет песка, краской.

Из люка одного танка торчала рука убитого. Только потом узнал я, что эти танки были переброшены в Сталинград из далёкой Африки.

Меня потянуло к «Красному Октябрю». Может быть, хоть там что-нибудь узнаю об отце?

Боец с миноискателем окликнул меня:

— Куда тебя несёт?

Я остановился.

Минёр подошёл ближе:

— Ты что, малыш, хочешь на тот свет прямо без пересадки?

Я недоумённо посмотрел на него.

— По минному полю шагаешь. Жми назад по своим же следам.

Несколько раз на моём пути встречались минёры. Они прокладывали узкую тропинку к заводу. То там, то здесь виднелись вытянутые ими из снега мины, похожие то на плоские коробки, то на консервные банки. Пахло ржавым и горелым. Куда ни взглянешь, всюду груды бетона, изогнутые железные прутья. Ни одной целой стены. Непонятно, на чём висели страшные скрипучие лестницы и оголённые прогнувшиеся балки. Вот-вот качнёт их ветром, и они рухнут.

Я шёл по снегу, пропитанному кровью, наталкиваясь то на железные пулемётные ленты, похожие на змеи, то на металлические футляры и ящики.

Добрался в конце концов до «Красного Октября». Постоял несколько минут у заводских

ворот, вижу — человек в военном полушубке идёт, а треух у него без звёздочки. Не знал, как обратиться, а поэтому произнёс только одно слово:

— Дяденька!

— Я, племянник, — ответил он добродушно. — А ты откуда такой вылез?

Рассказал я ему, что ищу отца, который на «Красном Октябре» работал. Как только назвал фамилию отца, дяденька оживился:

— Как же, как же, хорошо помню Соколова Ивана Сергеевича. Вот какой у него сынок!

Никак он не мог понять, как же это я здесь, рядом с ним, оказался. А мне совестно было признаться, что я от Александры Павловны удрал. Соврал, что нашёл пристанище у одной сталинградской тётки, а сюда пришёл об отце узнать.

— Э, брат, разве сейчас что узнаешь! Подожди, устроимся, тогда, может быть, и разберёмся. Я ведь только что из Челябинска сюда прибыл. А ты приходи, обязательно приходи. Кто же Соколова не знал! Он человек толковый! Не ты его, так он тебя найдёт.

— Дяденька, а как, жив отец?

Он помолчал, а потом сказал:

— Не сомневаюсь. Сталевар огня не боится. А ты приходи. Адрес у нас сейчас известный: Сталинград. Сам не знаю, где ночевать буду. Запомни фамилию мою: инженер Панков... Как это я сразу не догадался — у меня же в карманах целый продовольственный склад, а ты без гостинца уходишь. — Он порывлся в своём полушубке и сунул мне в руку небольшой свёрточек. — Так не забывай! Инженер Панков! — сказал он и по-взрослому пожал мне руку.

Уходил я и думал: хоть отца не нашёл и

ничего не узнал, а всё-таки хорошо, что с дяденькой встретился. Ведь он знал и помнил моего отца.

Потом я развернул свёрточек. Сало на толстом куске шоколада! Давно я не видел ни того, ни другого. У меня слюнки потекли, и я отломил кусок шоколада и вместе с салом направил в рот. Оказалось, не так уж плохо. Эх, если бы сейчас найти Олю! Вот бы пир устроили.

Остановился я, чтобы завернуть свои богатства и спрятать в карман, вижу — у груды кирпичей мальчишка стоит и со свёртка моего глаз не сводит. И глаза у мальчишки как-то странно блестят. Сейчас прыгнет на меня, как кошка! И чтобы этого не произошло, я первый крикнул ему:

— Ну, что уставился? — И, сжав кулаки, прошёл мимо. Прошёл, а потом оглянулся. Вижу — идёт он за мной. И я почему-то понял, что и он меня боится. Неужели я такой страшный? Может, и ему кажется, что у меня глаза горят?

Мальчишка молча подошёл и остановился.

Я отломил кусок шоколада и протянул ему:

— На, ешь!

Он схватил шоколад, продолжая тарашить на меня глазищи.

— Ешь! — закричал я ему и сам испугался своего голоса.

Оказывается, и я могу командовать. А он держит шоколад в руке, будто не знает, что с ним делать, или боится, как бы я не отнял.

Тогда я спросил его, уже не повышая голоса:

— Звать-то тебя как? Ну что стоишь, ну что смотришь?

Схватив мальчишку за руку, я почти насильно запихал ему в рот шоколад. Ну, думаю,

теперь и ему сладко. А он нехотя стал жевать, будто есть разучился.

Так ничего я от него и не добился, хотя теперь он уже шёл не сзади, а рядом. Куда я, туда и он. А ветер так и хлещет, залезает в рукава. Откуда-то сверху сорвался и загромыхал железный лист.

Когда надо о ком-то заботиться, сразу чувствуешь себя старше. Мне показалось, что у мальчишки побелели щёки. Я схватил снег и стал тереть ему лицо. Он не сопротивлялся и, как теперь мне казалось, смотрел на меня совсем иначе. Потом он тоже схватил снег и начал растирать мои щёки.

Мы подошли к походной кухне. У костра грелись бойцы. Увидев нас, кашевар взмахнул черпаком и рассмеялся, заметив, что у меня нет котелка. Сам раздобыл где-то огромную миску и ложки дал. Другой боец отрезал нам по куску чёрного хлеба и соль на бумажку насыпал.

— Ну, как же тебя звать? — спросил я мальчишку, когда тот согрелся. — Ну, кто ты: Васька, Колька, Петька?

— Васька, Колька, Петька...

Не помня себя я начал трясти его.

А он всё повторяет, как заводной: «Васька, Колька, Петька».

Одно я понял: он не глухой и не немой. И я опять начал втолковывать:

— Вот меня зовут Геной, Геннадий Соколов. Ну, а ты кто?

Он задумался, а потом сказал:

— Я тоже Геннадий Соколов.

— Скажи пожалуйста, тёзка! Я сталинградский, а ты откуда?

У него опять заблестели глаза, он начал



вертеть головой, а потом махнул рукой вперёд и произнёс:

— Оттуда...

Я понял — ничего мне от него не добиться. Но так или иначе я приобрёл спутника.

Губы его были в трещинах и ссадинах, и весь он был какой-то колющий, казалось, никаким гребешком в мире не расчесать его жёсткие волосы. Они торчали во все стороны и лезли ему в глаза.

Спросишь о том, что с ним раньше было, побледнеет, нахмурится, уставится в одну точку, словно силится что-то вспомнить, и молчит.

Расскажешь ему что, а он тебе то же самое о себе рассказывает. И слушать неохота.

Этот мальчик стал потом моим близким другом. Когда же теперь я вспоминаю о начале нашей дружбы, не могу сказать, что он понравился мне с первого взгляда, и всё-таки в тот странный день нашего знакомства мы почему-то потянулись друг к другу.

После того как накормили нас бойцы, вышли мы на берег Волги к памятнику Хользунову. Мой земляк-лётчик лежал на земле у взорванного гранитного пьедестала.

К Волге по тропинке спускались и поднимались бойцы с вёдрами, котелками и канистрами.

Начало смеркаться. Мы опять пошли к центру. В сумерках среди развалин всегда страшно, будто каждая дыра желает тебя проглотить.

Красноармейцы разбирали кирпичи и доставали из-под щебня и мусора разбросанные книги. Здесь, должно быть, когда-то был склад или книжный магазин. Некоторые набрали целые охапки книг.

Я смотрел на каменные коробки обуглив-

шихся зданий и на одной стене разглядел: висят на ремешке коньки «снегурочка», а в одном окне я увидел придавленную тяжёлым обломком клетку для птиц.

Коньки были мне ни к чему.

Я шёл и прикидывал: не лучше ли вернуться обратно к Александре Павловне на Мамаев курган? Там, в тесноте, и нам двоим место найдётся. А может быть, разыскать блиндаж на волжском берегу?

Глава восемнадцатая

В ДЕТСКОМ ПРИЁМНИКЕ

Мы опять вернулись к костру. Бойцы пропустили нас вперёд. Только мы протянули руки к огню, как какой-то рослый дяденька в полушубке, со звездой на шапке начал нас расспрашивать.

Спросил, не хочется ли нам есть, не простыли ли. Потом вдруг схватил нас за руки и потащил за собой и держал так крепко, будто боялся, что мы сможем вырваться.

Только перешли железную дорогу, как Васька-Колька-Петька вдруг остановился.

Военный забеспокоился:

— Ты не стесняйся, брат, садись-ка на меня верхом, так мы скорее дойдём.

— А я туда не пойду,— закричал мой беспамятный.— Знаю, куда ты ведёшь нас.

— Знаешь? — удивился военный.

— Знаю! А всё равно оттуда убегу. Там фамилию спрашивают.

— Правильно! — невозмутимо подтвердил военный и потащил нас дальше.

Вскоре он предупредил:

— Здесь ступеньки!

Мы вошли в комнату, освещённую коптилкой. Каким уютным показался мне тогда её тусклый свет! Я даже не сразу разобрал, что поднявшаяся нам навстречу женщина была Александра Павловна. Она сразу же узнала меня, но и виду не подавала.

— Как фамилия? — спросила меня Александра Павловна.

Сгорая от стыда, я ответил.

Потом Александра Павловна строго посмотрела на моего спутника и произнесла:

— И с тобой мы тоже знакомы. Всю ночь не спал, бродишь. Опять запишу тебя.

И Александра Павловна вздохнула:

— Бесфамильный. А может быть, вспомнил, как тебя звать?

Бесфамильный мотнул головой и зашмыгал носом.

— Серёжей звать его, Серёжей! — сказал я Александре Павловне.

Я уже привык отвечать за него. А это имя мне почему-то нравилось больше других.

Я думал, что Александра Павловна начнёт меня бранить. А она только взяла за руку и сказала:

— Вовка ушёл от нас. Гвардейцем хочет стать...

— Ну я пойду, — перебил её военный, — может быть, ещё кого ночью приведу. Беда. А убегать не советую, — обратился он к нам. — Подумаешь, беглецы-близнецы!

Александра Павловна помогла нам раздеться и всё время как бы сама с собой разговаривала:

— Вот и хорошо, что пришёл, Фёкла всё беспокоилась, как бы на mine не подорвался или

какой балкой не придавило. Вот, Гена, какое мы для вас жильё сооружаем. А работы здесь сколько! Хорошо, с потолком справились, не валится больше. Пол настелили.

Мы с Серёжей легли рядом не раздеваясь.

Александра Павловна долго не отходила. Она поцеловала меня в лоб и провела несколько раз рукой по голове.

Как хотелось мне тогда схватить её за руку и не отпускать от себя! Но Александра Павловна уже гладила Серёжу. Я поразился тому, как он сказал:

— Вы такая же хорошая, как мама!

— Маму вспомнил! — радостно воскликнула Александра Павловна.

Серёжа ничего не ответил.

Александра Павловна прикрыла нас плащ-палаткой и отошла, а мы долго лежали молча. Каждый думал о своём. Кто-то громко кричал во сне.

Мы обнялись и вскоре заснули.

Проснулся я раньше Серёжи и не сразу сообразил, где я. Вскочил и сделал несколько шагов по комнате. Всюду лежали ребята, закутанные в трофейные шинели, в какие-то половики, тряпки. В темноте трудно было разглядеть, у кого какие волосы. Я осмелел и стал вглядываться в спящих. Кто-то застонал.

В углу, сидя на кирпичах, дремала Александра Павловна.

Я терпеливо ждал наступления утра.

Проснулись все разом. Одна девчонка заревела, и этот рёв сразу же был дружно поддержан.

Я посмотрел на своего соседа. Неужели и он, как только проснётся, заплачет? А он проснулся и сказал с ожесточением:

— Опять ревут! Убегу!

Александра Павловна бросилась к плачущим.

Так начался день на новом месте. Свет проникал сюда только сквозь щели, и днём здесь всё так же мигала коптилка.

Утром на помощь Александре Павловне пришли другие женщины. Каждая из них что-нибудь да держала в руке: ведро, утюг, топор.

Одни кормили малышей, другие что-то скребли-мыли, что-то перешивали из старого красноармейского белья.

Александра Павловна всех подбадривала, шутила:

— Я сама несерьёзная, а народ подбираю серьёзный. У нас у всех двигатели внутреннего сгорания — вот и держимся.

И мы с Серёжей получили задание: очищать лопатой кирпичи от присохшей глины. Этими кирпичами надо было заделать пробойны в стене. А потом мы обдирали зеркало, чтобы заменить разбитое оконное стекло.

Через несколько дней мы обходились уже без коптилки. В комнате стало светло. В один просвет вместо фанеры было вставлено зеркало; в другой — стекло от автомашины; третье же было составлено из небольших отмытых фотопластинок.

Какие же мы были тогда заморыши! Кто в гнидах, кто в болячках! Десны кровоточили. Многие даже ходить не могли... Потому, должно быть, стоило только одному заплакать, как плакали все. Конечно, не я и не Серёжа. Мы были самыми старшими, и Александра Павловна давала нам поручения — одно за другим.

Кухня была за квартал от детского приёмника. Там уцелела большая печь и хлеб заме-

шивали в ванне, белой и чистой. Все мы тогда никак не могли насытиться и были похожи на жадных птенцов.

Принесли к нам одного мальчугана. Ножки тоненькие, как ниточки, а живот большой. Был он весь в шрамах, ожогах; даже взрослые боялись до него дотронуться. Кто бы ни подходил к нему — он дрожал и всех сторонился; по временам начинал кричать:

— Капустки горсточку!

А одна девочка, очень бледная, прозрачная, как стёклышко, закрывала глаза руками, боялась света. Чуть посмотрит на свет — слёзы текут и от боли плачет.

Помню, как однажды кто-то тихонько постучал в дверь. Это был командир. Он держал на руках девочку, завёрнутую в меховую телогрейку. Она спала, и командир боялся её потревожить. Командир просил оставить ей телогрейку. И ещё он просил назвать её Надеждой и, если не найдутся родители, Михайловной.

— Это я Михаил, — сказал он негромко. — Я и фамилию для неё придумал, пока нёс: Сталинградская. С такой фамилией я её везде найду, — добавил он и ещё раз посмотрел на девочку.

Где она сейчас, Надежда Михайловна Сталинградская?

А другого малыша — лет двух — к нам принесли танкисты. Они вытащили мальчика из какой-то ямы, он был весь в крови, но, когда его вымыли, оказалось, что кровь на нём чужая. Только обмыли его, он улыбнулся. Потому и прозвали его «Маленький, да удаленький».

В нашем приёмнике становилось всё тесней.

Утром я и Серёжа старались как можно скорей уйти оттуда. Мы с ним стали чем-то вроде

трофейной команды. Отдирали мешковину, которой были обиты потолки фашистских блиндажей; собирали посуду, ролики, пятнистые плащ-палатки, походные фляги в суконных чехольчиках, коробки порошка от пота ног, огарки свечей, всевозможные флаконы и баночки. Один раз огромную перину приволокли.

Из немецких блиндажей долго не выветривался какой-то особенный запах, пахло то ли дезинфекцией, то ли лекарством.

В одном из них было разбросано много открыток с изображением военного с клоком волос на лбу.

— Главный фашист. Гитлер,— объяснил я Серёже.

Он схватил открытки и начал гвоздём прокалывать глаза Адольфу. Таким я ещё не видел Серёжу. Он дрожал, топал ногами, всё в нём клокотало.

На обратной дороге он прицелился и швырнул кирпичом в огромную сосульку. Она рухнула вниз вместе с куском карниза. Серёжа еле успел отскочить. Он долго не мог успокоиться и продолжал с ожесточением сбивать сосульки.

Я так и не знал, кто он и откуда. Серёжа ничего, ничего не знал о себе; всё время мучительно старался что-то вспомнить. Но память к нему так и не вернулась, хотя всё, что происходило недавно, он помнил отлично. И вообще был проворен и лёгок, двигался почти бесшумно и видел так, будто в каждом глазу было по стереотрубе.

Это Серёжа в одном из дворов обнаружил нераспакованные снаряды, завёрнутые в бумагу и густо смазанные каким-то жиром; не раз подзывал он минёров и показывал на заминированные приманки, начинённые смертью.

Я даже надеялся, что Серёжа поможет мне найти Олю.

В том же детском приёмнике мы встретили Новый год.

...Ёлка упиралась в самый потолок. Украсили её пульками, роликами, повесили даже какао в красной обёртке, полученное в подарок от бойцов.

Много тогда гостей у нас побывало.

С Тракторного завода пришла невысокая девушка в военном полушубке. Сразу показалась она мне очень знакомой. А когда подружка назвала её Лидой, я вспомнил подвал и щель, пробитую в стене.

Все так и ахнули: к нам в гости и сам Дед Мороз пожаловал. На нём был вывернутый полушубок и снежная борода из белой ваты. Всем хотелось потрогать Деда Мороза за бороду.

Дед Мороз взял в руки автомат и начал рассказывать о деде-партизане, будто про себя. До сих пор запомнилось мне:

Кто он — дед?

Во что одет?

Раздражает немцев дед.

Спросил я Лиду про Шуру, но вокруг неё шумели девочки, и она невнимательно слушала меня. Когда же я несколько раз настойчиво повторил свой вопрос и сказал, что Шура была высокой и членские взносы в райкоме комсомола собирала, Лида сразу внимательно на меня посмотрела, задумалась и сказала:

— Мы дружили. Всё меня уговаривала в парашютный кружок записаться. Я недавно отца её, капитана, на переправе встретила. Говорит, Шура жива и невредима. Долго писем от неё не было, а потом сразу в один день целую пачку

получил. Пишет ему, что сейчас на каких-то курсах... А ты откуда её знаешь? — спросила Лида, но, не дождавшись моего ответа, сказала: — Теперь парашютисты нужны!

Хотел я попросить Лиду, чтобы узнала она Шурин адрес, но потом решил: больше не буду к ней приставать.

Лида сама ко мне подошла:

— Кто она тебе, Шура, знакомая или родственница?

— Бабушка Наталья Антоновна! — выпалил я по прежней привычке.

Лида посмотрела на меня с удивлением, но больше ни о чём не спросила. Не узнала меня, видно, Лида. И я почему-то о себе не напомнил.

Серёжа пристально смотрел на меня своими глазами. На Серёжу многие невольно обращали внимание, чувствуя на себе его долгий взгляд.

— Ну, что смотришь? — спрашивали его дружелюбно.

Серёжа же в ответ нахмурится, тряхнёт головой, но ничего не скажет.

Вскоре после Нового года привезли новую партию детей.

Я первым делом оглядел всех девочек. Худенькие, пожелтевшие... У одной, когда её снимали с машины, с ноги свалился в лужу валенок.

Я взглянул на неё и сразу узнал Валю. Подбежал к луже, схватил валенок и с радостным криком протянул его Вале, и по тому, как блеснули её глаза, я понял, что и она узнала меня.

Валя прижала валенок к себе, а сама сделала шаг в мою сторону. Она обнимала валенок, а я обнял её вместе с валенком.

Нам обоим почему-то стало очень смешно.

Мы не знали, с чего начать разговор.

Нас заметила Александра Павловна. Я уже знал, что она всегда всё видит.

И вот Валя сидит на койке. Её ноги обёрнуты стёганным одеялом. Она внимательно смотрит на меня большими тёмными глазами, чуть нахмутив густые бровки. Первым делом я спросил про Галину, но Валя, конечно, ничего не могла мне сказать о сестре.

Мне очень хотелось узнать, что случилось с Валею после того, как мы расстались, и она рассказывала мне, как несладко ей было...

Как только деревня, где жила Валя, была освобождена, хозяйка сама отвезла её в районный центр, а на прощание даже прослезилась и первый раз за всё время поцеловала.

Долго мы болтали о разных вещах и не заметили, что Сергей не сводил глаз с Вали, прислушивался к каждому её слову.

Глава девятнадцатая

ПРОВОДЫ

Солнышко с каждым днём пригревало всё сильнее. Уже повеяло весной, а земля всё ещё хранила запах битвы.

Серёжа всё время на улицу рвался. Мы с ним несколько раз ходили в центр города. Мосты через Царицу были взорваны. Пешеходы перебирались по временному настилу. Отсюда, как всегда, хорошо виден элеватор — единственное уцелевшее здание на огромном пространстве.

Вся Царица была забита трупами.

Из Заволжья со своими подводами приехали колхозники — в Сталинград «на уборочную».

Везли «завоевателей» и на волах и на верблюдах.

Пленные фашисты укладывали своих мертвецов на арбы, но верблюды ложились на снег: видно, не хотелось им такой груз возить. Один верблюд повернул свою маленькую голову и заорал диким голосом. С трудом подняли его.

В центре города, на одном из углов, стоял столик с надписью: «До востребования». Здесь же продавали конверты и марки.

Серёжу почему-то тянуло именно к этому столику. Он смотрел исподлобья на тех, кто получал письма и тут же под открытым небом писал ответ.

— Давай купим конверт,— предложил он мне,— напишем кому-нибудь.

— А кому? — спросил я.

— Твоему отцу.

— А куда?

— Куда-нибудь.

Однажды Серёжа так осмелел, что подошёл к женщине, стоявшей за столиком, и попросил конверт.

Она дала ему сразу несколько штук. Серёжа сложил их и сунул за пазуху.

В те дни, когда снег совсем почернел и всё ярче светило солнце, войска стали покидать наш город.

Александра Павловна взяла меня и Серёжу на проводы.

С гвардейской частью уходил на запад и Вовка. На весеннем солнце он ещё больше покрылся веснушками и весь блестел, как конфета в золотой обёртке. На его груди, с правой стороны, красовался новенький почётный знак «Гвардия». Как и на всех, на нём были недавно введённые погоны — полевые, зелёного цвета.

Фёкла Егоровна заплакала. Александра Павловна прикрикнула на неё и крепко обняла Вовку.

А Серёжа-то, хоть и беспамятный, а как только увидел рыжеволосого гвардейца, сразу полез к нему целоваться и, сунув в карман синих Вовкиных галифе сложенный вчетверо конверт, сказал:

— Пришли мне обратно.

Много жителей собралось провожать гвардейцев.

Заиграл оркестр.

Гвардии рядовой Вовка ловко перемахнул через борт грузовика. Мать протянула ему новенький заплечный мешок.

Загромыхали тягачи и орудия. Подпрыгивали прицепленные к автомашинам миномёты.

Как обрадовался я, когда из одной машины мне кто-то крикнул и помахал рукой:

— Геннадий Иванович!

Это был боец, обладавший громким голосом.

Скоро совсем опустел город. Редко встретишь военного. И ветер стал злее. Как завоет, всё заскрипит кругом, застонет.

Ночью несколько раз пролетали «адольфы» и бомбили развалины.

Около нашего приёмника тротуар очистили от мусора и обломков. И нас уже несколько раз «скребли» в бане, устроенной в красноармейском блиндаже на берегу Волги.

Над другим блиндажом красовалась дощечка с надписью «Парикмахерская». Но парикмахерша в дневные часы работала под открытым небом. У блиндажа стоял вертящийся круглый стул. Я несколько раз на нём повертелся.

Остригли и нас машинкой «под нуль».

Серёжа напялил на стриженую голову ру-

мынскую овчинную шапку с острым верхом и утонул в ней до самого подбородка.

— А ты в неё соломы подложи,— посоветовал я.

Он долго носил шапку в руке, пока не догадался перевернуть её мехом внутрь.

А в блиндажах и на командных пунктах на крутом берегу Волги после ухода воинов поселились жители. Над берегом вились дымки от печурок. Повсюду сушилось бельё.

Где только не жили тогда в Сталинграде: и в кабинах сбитых самолётов, и под лестничными клетками...

...Настала и наша очередь покинуть детский приёмник. Александра Павловна успокаивала, говорила, что детдом недалеко от Сталинграда, что она будет всех нас навещать.

Возле нашего приёмника, в подвале разрушенного дома, уже открылась школа, в которую шлёпали по лужам мои сверстники, жившие с мамками, тётками и бабушками. У многих за плечами болтались рыжие трофейные ранцы из телячьей кожи.

А нам Александра Павловна сказала:

— В детдоме, на воздухе, быстро поправитесь. Там и в школу пойдёте.

Как мне не хотелось уезжать из Сталинграда!

Но Серёжа успокаивал:

— Не понравится — убежим.

Интересно было узнать, что это за дом?

«Он, должно быть, на горе стоит,— думал я.— И оттуда далеко видно, как с Мамаева кургана».

Был уже конец марта. На Волге потемнел лёд. К детскому приёмнику подкатила машина.

Александра Павловна усадила Валю в кабину. Она закутала её тёплым платком. А нас

рассадила в кузове на мешках и накрыла одеялами.

Только шофёр начал заводить машину, а девчонки как завоют:

— Мама! Мама!

Грузовик понёсся мимо развалин. То там, то здесь вились дымки.

А я почему-то в это время думал об одной женщине. Рассказывали: когда у неё на руках фашистским осколком убило дочку, она обезумела и начала хватать девочек, которые бежали к Волге...

Как это я не догадался сразу! Это она, именно она, похитила Олю!

Я не сомневался, я верил, я твёрдо знал, что встречу с сестрой.

Глава двадцатая НА НОВОМ МЕСТЕ

В пути мы часто останавливались: шофёр выходил с лопатой из кабины, пробовал талую дорогу, боясь наехать на мину. Часто забирался под машину и вылезал оттуда потный и красный.

Один раз нас выручили военные из встречной полуторатонки, и наш грузовик опять оказался на накатанной колее.

На каждой остановке мы с Серёжей тоже вылезали из грузовика и старались, как могли, помочь шофёру. Сначала он прогнал нас, но мы не обиделись и притащили ему целую охапку веток.

Наконец машина остановилась в последний раз. Откинули борт, и какие-то незнакомые женщины взяли на руки малышей. Одна из них

хотела помочь Серёже, а он сам спрыгнул. Правда, у него подвернулась нога, и он бухнулся прямо в лужу. Мне протянул руку шофёр. Несмотря на то, что затекли ноги, я бы с удовольствием ещё ехал и ехал...

Стараясь скрыть свой неловкий прыжок, Серёжа разминался, прыгая то на одной, то на другой ноге.

— Как ты думаешь, куда нас привезли — на запад или на восток? — с таинственным видом спросил он меня.

Я не задумываясь ответил:

— На запад.

Серёжа толкнул меня в бок и громко крикнул:

— На восток!

Разочарованные, мы побрели к дому, похожему на длинный сарай. У крыльца распорядилась высокая, широкоплечая женщина с непокрытой головой.

Мы недоверчиво оглядывались. Посередине двора лежала большая металлическая бочка из-под бензина. Не сговариваясь, мы одновременно ударили её носками сапог, будто нам попала под ноги обыкновенная жестянка. Бочка глухо отозвалась.

Так вот он, дом, где нам жить и горевать по оставленному Сталинграду! Каким же он показался нам тогда неудобным и неприветливым! Стены голые, закопчённые, свет тусклый; ни скамьи, ни табуретки.

Сели мы прямо на пол, и Серёжа посмотрел на меня так, будто я в чём-то перед ним провинился.

И ещё запомнилось мне в пустой комнате большое зеркало — от пола до потолка. Перед ним стоит Валя, она смотрит на себя грустно и испуганно. Какая она худенькая!

Я тоже взглянул на себя в зеркало и не огорчился, увидел, что вырос за это время, и вспомнил, как отец раз в месяц, по первым числам, ставил меня у двери, клал на голову книгу в твёрдом переплёте и карандашом проводил черту, отмечавшую мой рост...

Высокую говорливую женщину с большими руками звали няней Дусей. Мы очень удивились, когда узнали, что не она здесь самая главная. Главной же оказалась Капитолина Ивановна — женщина совсем небольшого роста. Это она первая спросила, как меня зовут. А Серёжу сама назвала Сергеем. Он восторженно, а она в ответ провела ладонью по его волосам и сказала:

— Жёсткие!

Вскоре всех нас раздели, и мы сидели голышом на полу, на каких-то подстилках. Даже вспомнить сейчас страшно, какая у многих была кожа: кто жёлтый весь, а кто будто пеплом посыпан.

Потом няня Дуся мыла нас в большом тазу. Нательную рубашку выдали мне тоже какого-то пепельного цвета. Она давно прохудилась на спине и треснула, когда я натягивал её на себя.

Мы думали, что наше бельё сушится на весеннем солнце, но, как потом оказалось, у многих его просто сожгли.

Мне и Сергею повезло: наши гимнастёрки и галифе защитного цвета пощадили, но, когда нам их вернули, они сильно пахли палёным. В своём военном обмундировании мы выглядели лучше всех.

У нас было только по одной смене белья; его стирали золой по ночам.

Ване Петрову досталась женская поношенная кофточка из бумазеи на кнопках. У Вани не действовала правая рука. Он и сам толком не



мог рассказать, как это произошло, — наверное, придавило где-то. Рука безжизненно болталась, он даже пальцы не мог сжать в кулак. Зато умел двигать ушами. Ваня соорудил мне рожицу и засвистел, как чижик. Тут кто-то из ребят сказал ему: «Эх ты, сухорукий!» А Ваня в ответ только щёлкнул языком.

Во время медицинского осмотра наш врач Светлана Викторовна грустно посмотрела на Ваню, а он её весело подмигнул.

Серёжа недоверчиво, исподлобья смотрел на врача. Она показалась ему слишком молоденькой, и он ничего не ответил на её вопросы.

А мне Светлана Викторовна сразу понравилась. Ведь и моей маме никто не верил, что у неё двое детей.

От няни Дуси мы узнали, что, если бы не война, Светлана Викторовна ещё училась бы. Война заставила её стать врачом в более короткий срок, чтобы скорее попасть на фронт. Но попала она в маленький городок — лечить таких фронтовиков, как мы. В первый же день нашего пребывания в детдоме она усердно вымазала всех зелёнкой.

Наступил вечер. Наш первый вечер на новом месте.

— Как ты думаешь, если мы убежим, будут нас искать? — спросил меня Серёжа, когда мы улеглись на соломе.

А я не успел ему даже ответить, сразу заснул.

На следующий день, после завтрака, мы совершили с Серёжей самовольную отлучку.

С особым удовольствием прошмыгнул я вслед за Серёжей в ворота, которые никто не сторожил.

Оказалось, что в нашем детском доме много построек, все такие же ободранные, «без окон и дверей», как и главный корпус.

Мы шлёпали по лужам, с любопытством озираясь. Ну что это за «населённый пункт», если его можно было, несмотря на непролазную грязь, обойти из конца в конец за какой-нибудь час! Так хотелось услышать хотя бы один заводской гудок! Но в «населённом пункте» не было даже ни одной настоящей фабричной трубы. Над городской пекарней, зданием электростанции и механической мастерской торчали какие-то неказистые трубы.

Первым делом через разобранную ограду мы проникли в городской сад и обнаружили там тир с разукрашенными мишенями и площадку для танцев. Узнали также, что из городка на железнодорожную станцию обычно ходит автобус, но вот уже несколько дней, как автобус «отдыхает» во дворе пожарной команды, и все в городке с нетерпением ждут запоздавшую почту.

В городке было очень тихо. Домики стояли, как до войны. Обыкновенный печной дым медленно и спокойно поднимался вверх, как нарисованный на картинке.

И так щемило сердце, когда я заглядывал в окна! Подумать только — цветы в горшках! В кадучке — фикус чуть не подпирает потолок. А на одном подоконнике — немецкая каска. В неё была насыпана земля, и в ней росли цветы.

Сидит у окна женщина и крутит швейную машинку. И моя мама тоже никогда не сидела без дела, я не видел её без работы.

Было странно, что люди протирают совершенно целые стёкла в окнах, что хозяйки вытрясают половики, а у женщины, которая шьёт, вся грудь в булавках...

Кот забрался на подоконник, щурится на солнце.

Пахло весной. А меня всё ещё преследовал запах гари, жжёной извести и золы. Всё казалось, что кирпичная пыль, гонимая ветром из сталинградских улиц, продолжает и здесь лететь в глаза.

И когда мы снова, никем не замеченные, прошмыгнули в ворота детдома, я опять, уже с ненавистью, взглянул на железную бочку из-под бензина. Я вспомнил, как свистели такие бочки, когда враги сбрасывали их только для того, чтобы напугать нас. Хотелось не просто толкнуть бочку носком сапога, а взять палку и колотить её.

Серёжа наклонился и сказал мне на ухо:
— Когда подсохнет, тогда и убежим.

Но земля долго не просыхала. По утрам лужицы покрывались тонким льдом, и мы шагали по ним, наслаждаясь лёгким хрустом. Днём наступала теплынь. Текло с крыш. По желобам шумела вода.

Нас тянуло на улицу, к ручейкам. Мы пускали по лужам бумажные кораблики, катушки от ниток и прочие богатства, не переводившиеся в наших карманах.

Весенний поток принял от нас и такие жертвы, как деревянная, обгрызенная по краям ложка и спичечный коробок.

Только поплыл наш коробок с прикреплённым к нему бумажным парусом, смотрим — какой-то старик с него глаз не спускает. Откуда он только взялся? Брови лохматые, весь заросший.

Мы побежали за коробком. Вот он закружился на одном месте, и мы наклонились к нему. А старик оказался прытким. Он не отстал от нас и, опустив железную клюшку в воду, спросил:

— Что это вы, братишки, над водой колдуете?

Мы показали ему на кораблик, а он захохотал: — Как же это можно, спичечный коробок — да в воду? Я вот к соседу хожу — за огоньком, а вы коробок выбросили!

— Не коробок, а кораблик,— поправил старика Серёжа, подтолкнул коробок палкой, а старику сказал: — А ты, дедушка, не огорчайся. Мы тебе два таких коробка принесём!

Старик благодарно кивнул головой и, одолев кашель, рассказал, что в нашем городке, в давнишние времена, в доме близ реки Невелички, останавливался сам Разин Степан Тимофеевич, и этот дом до сих пор все называют домом Степана Разина...

Серёжа многозначительно посмотрел на меня. Ведь мы и думать не могли, что в двухэтажном здании без крыши, которое ничем не привлекло наше внимание, жил когда-то человек, о котором распевают песни.

Серёжа заспешил, протянул руку нашему новому знакомому и потащил меня за собой.

Мы спустились к реке. Перелезли через плетень. Прошли пустырь. Перешагнули ров и подошли к дому Разина. Он смотрел на нас пустыми впадинами окон, хотя стены были добротные и прочные, как в крепости.

Широкие ступени вели к двери, обитой железом. Мы навалились на неё всем телом. Дверь заскрипела и открылась. Мы оказались сразу на втором этаже. Перешагнули через широкие брёвна и увидели над собой стропила и прозрачное небо. Боязно было сделать даже шаг: пол ненадёжен. Я прислонился к стене и посмотрел в окно. Виднелись маленькие домишки и чёрные ветви деревьев.

Мне показалось, что мы стоим на палубе корабля, обдуваемые ветром. Нас обдают брызги

волн... И тут я (не знаю, почему это пришло мне в голову) спросил Сергея:

— А ты когда-нибудь давал клятву?

Серёжа посмотрел на меня с удивлением.

— Хочешь дать клятву?

— Хочу!

— Давай дадим клятву, что будем вместе до самой смерти.

— Давай! — с восторгом крикнул Серёжа и схватил меня за руку.

И в этот торжественный момент прозвучал громкий голос няни Дуси:

— Всыпать бы вам, бесенята, как следует! Весь город обыскали, а они вот где спрятались!

Обратно мы возвращались втроём. Няня Дуся с решительным видом взяла нас за руки. А мы и не думали вырываться.

Не глядя под ноги, няня Дуся перешагнула через ров, а мы при этом чуть не свалились в него. Она вела нас и приговаривала, что из-за нас Капитолина Ивановна беспокоилась, а мы, баловники, порядок нарушаем.

Няня Дуся рассказала нам, что Капитолина Ивановна и до войны заведовала нашим детским домом; всех детей сберегла, увезла в тыл и только недавно вернулась.

Няня Дуся привела нас прямо к Капитолине Ивановне и, подтолкнув вперёд, произнесла:

— Вот они, удальцы!

Я думал, что Капитолина Ивановна начнёт нас ругать, а она только спросила:

— Ну как, проголодались? Я уже распорядилась, чтобы обед вам оставили.

И только тут я почувствовал, как хочется есть.

В воскресный день к нам пришли гости со

всего города, и почти все с подарками: кто молоко принёс, кто простоквашу, кто книжку с картинками, кто школьную ручку...

Городские комсомольцы взялись помочь нашему детдому. Пыль столбом поднялась! Откуда-то появились даже тюфяки. На дворе пилили и кололи дрова.

Наработались мы за день, зато молока попили вволю.

Я долго ворочался с боку на бок, не мог заснуть... И подумал, что не так уж плохо живётся нам в детдоме, и пожалел, что Серёжа почему-то решил бежать отсюда. А в этот момент Серёжа, как бы рассуждая сам с собой, вслух произнёс:

— Ещё побудем здесь несколько дней!

Глава двадцать первая

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Как я ни старался, мне ни разу не удалось проснуться раньше Серёжи. Только продеру глаза, а он уже смотрит. И каждый раз Серёжа приставал ко мне с одним и тем же вопросом: какой сон приснился мне ночью. Я бы и рад рассказать, но разве всегда поймаешь то, что снится!

Однажды мне снилось, что в наш городок приехали зенитчики, сбили немецкий самолёт, и я сел на него верхом. Сны снились самые разные. Часто приходила мама... То я видел дула орудий, накалившиеся докрасна от частой стрельбы, то плыл с отцом по Волге...

О том, что мне снились мама и папа, я почему-то никогда не рассказывал Серёже. Он

и так завидовал, что мне сны снятся. Ему никогда ничего не снилось.

Днём мы теперь редко вспоминали войну, а вот ночью она напоминала о себе. Даже звёзды казались трассирующими пулями. Ночью, когда пролетал самолёт, в детдоме все просыпались, поднимался отчаянный крик, долго не могли успокоиться.

А однажды среди бела дня над самым окном автомат затрещал. Выглянул — никого нет, а автоматчик всё бьёт. Оказалось, дятел стучит.

В один из весенних дней с утра ничто не предвещало грозу. Откуда они только взялись, эти чёрные, свинцовые тучи?

Я вздрогнул, когда вдруг услышал оружейный залп: тахтарарах! Сверкнула молния, а за ней опять — удар.

Многие ребята полезли под стол и оттуда кричали:

— Бомбят! Опять бомбят!

А самые маленькие притихли.

Может быть, когда началась война, даже взрослые люди приняли первые залпы и взрывы за удары грома, а нам весной 1943 года удары грома напомнили войну...

Гроза промчалась быстро, небо опять прояснилось. Все снова стали храбрецами и высыпали на двор, шлёпая босыми ногами по лужам.

В это время к детдому подъехала грузовая машина. Обгоняя друг друга, мы побежали к ней — встречать новеньких. В пути их застал ливень. Они промокли до нитки. Дождь перестал, а с них всё ещё текла вода. Сейчас их переоденут, подкрасят зелёнкой. А самых изнурённых Светлана Викторовна отправит в больницу.



Няни помогали сойти маленьким пассажирам, а они озирались по сторонам — кто недоверчиво, а кто с любопытством.

Я, по обыкновению, разглядывал девочек и сначала заметил среди них одну чёрную-пречёрную, глаза как угли.

— К нам цыганка приехала! — закричали ребята.

А это кто рядом с ней, совсем маленькая, в заплатанном мужском пиджаке? Из-под платочка выбиваются белые волосы. Она как-то нетвёрдо стоит на ногах. Должно быть, её сильно оглушил гром.

Вдруг она громко заплакала.

Я насторожился. Слишком знаком мне был этот плач. Но не может быть!

Я схватил Капитолину Ивановну за руку:

— Это она! Оля?!

Капитолина Ивановна спросила новенькую:

— Девочка, как тебя звать?

— Оля, — ответила та сквозь слёзы.

Нет, это мне слышалось! Капитолина Ивановна крепко держала меня за руку.

— Оля, а у тебя был брат?

Девочка не успела ответить, как я бросился к ней, увлекая за собой Капитолину Ивановну.

Оля перестала плакать и, замигав ресницами, спросила:

— А где мама?

Капитолина Ивановна тут же сняла с Оли пиджак. Мокрая майка, продранная на плечиках, прилипла к её худенькому тельцу. Капитолина Ивановна завернула Олю в свой белый вязаный платок, подхватила и понесла к себе. Но тут же обернулась ко мне:

— Ты, Гена, не скучай, ведь дольше не виделись!

Няня Дуся подтолкнула меня:

— Ну что стоишь! Видишь, все рады: сестра твоя на молнии прилетела!

Я побрёл к белому домику, в котором помещался изолятор.

В открытом окне ветер шевелил марлевые занавески. До меня доносился голос нашего врача, Светланы Викторовны. Она осматривала новеньких.

Олю принесли последней. Я ловил каждое слово.

— Придётся остричь тебя. Не бойся, это машинка. Будешь как мальчишка — стрижкой-брижкой!

Сестра тихо всхлипывала.

Мне не терпелось взглянуть на неё. Я подставил кирпич, дотянулся до подоконника и увидел Олю. Без волос она стала ещё меньше.

Оля потрянула головой, а потом провела рукой по лбу, и лицо её сразу омрачилось, она наморщила нос и заплакала. Светлана Викторовна не знала, как её утешить. Сунула ей в руку деревянную трубочку, которой выслушивала больных, а сама принялась собирать с пола Олины волосы.

Оля кинула трубку.

Светлана Викторовна подняла её и достала из кармана книжечку. Я уже знал, что это за книжечка.

— Посмотри на себя,— сказала Светлана Викторовна.

Увидев себя в зеркальце, Оля сразу притихла.

— Оглянуться не успеем, как вырастут у тебя косы...

У бани я снова ждал Олю. Там её переодели во всё новое.

— В самый раз, в самый раз,— повторяла тётя Феня.

Тётя Феня, няня из корпуса, где будет жить Оля, не могла наглядеться на Олю, гладила её по стриженной голове и даже хвасталась, что с ней девочка не плачет. Но Оля смотрела на всех безучастными, сонными глазами.

Дома у нас говорили: «С гуся вода, с Оли худоба!» И сейчас про себя я повторил эти слова. Ой, какая это была худоба!

Тётя Феня снова закутала Олю в платок Капитолины Ивановны и отнесла в корпус к малышам.

Я шёл рядом. Так не хотелось расставаться с Олей! Как бы снова не потерять её.

Утром чуть свет я снова был у корпуса малышей.

Глава двадцать вторая ОЛЯ УЛЫБНУЛАСЬ...

Не только мне, но и взрослым очень хотелось узнать, что же случилось с Олей после того, как я её потерял. До сих пор не могу понять, как это произошло. То ли действительно её схватила какая-то женщина, бежавшая к Волге, то ли засыпало землёй, а бойцы вытащили и спасли. Сестра помнила только то, что она видела большого слона...

— Ты его видел? — спросила меня Оля. И пожалела меня, когда я ответил, что нет.

Однажды она задумалась и сказала:

— Я была совсем синяя.

В другой раз вспомнила, что какая-то тётя дала ей кусок сахара.

Оля часто забивалась в угол и молча сидела одна, опустив глаза в землю.

Раньше она была весёлая, и папа называл её пустосмешкой. Она любила забираться к папе на плечи. Смотрит оттуда сверху вниз, заливаясь громким смехом. А теперь будто кто подменил Олю. Даже Ваня Петров, как ни старался, не мог её рассмешить.

Светлана Викторовна раздобыла для Вани самые разные игрушки и разноцветные палочки. Целыми часами он сгибал, разгибал пальцы. Мы во дворе играем, а Ваня Петров — у врача. Мы его спрашиваем:

— Ну, а сегодня как тебя Светлана лечила?

А он отвечает:

— Волчок вертел.

На наших глазах Ванина рука преобразалась.

— Из меня Светлана боксёра сделает. Буду зимой в снежки играть, — хвастался Ваня.

Ваня и ушами двигал и рожицы строил, но не мог рассмешить Олю. Она смотрела на него насупившись. А ночью просыпалась и начинала плакать. Сядет поперёк кровати или стоит в одной рубашонке.

Однажды Валя прилегла на Олину кровать и строго сказала ей:

— Глаза закрой и усни!

Сама Валя притворилась спящей. Оля прижалась к ней и заснула.

С той ночи Оля привязалась к Вале. Как увидит её, подбежит, уцепится и не отпускает. С утра до вечера они бывали вместе.

Оля любила греться на солнышке. А солнца всегда много в нашем городе.

Чёрненькая девочка, прозванная цыганочкой Земфирой, тоже не помнила, что с ней про-

изошло. Она уже жила в другом детдоме, где её и научили гадать и плясать.

Как-то старшие девочки натянули на Земфиру длинную юбку. Она запуталась в юбке и растянулась. Поднялась, стянула с себя юбку, бросила её под ноги и начала танцевать, то плавно двигала руками, то покачивалась всем своим тоненьким телом.

Мы забили в ладоши. А Оля испугалась и расплакалась.

Капитолина Ивановна несколько раз говорила мне, чтобы я чаще оставлял Олю с девочками.

— Она всё около тебя, как козочка. Так тоже нехорошо.

Но когда я уходил, Оля мрачнела и начинала плакать. Поэтому так уж получалось: куда я, туда и Оля.

Это, конечно, не нравилось моему другу Сергею Бесфамильному. Он дулся на меня. Держался поодаль. А как-то презрительно процедил сквозь зубы:

— Тоже мне — покровитель!

Я по всему видел, что Серёжа не в своей тарелке. Всё время, пока я был с Олей и Вaley, он на пустырях и оврагах беспощадно уничтожал заросли крапивы. Он не щадил её у заборов и плетней: крепкий прут так и свистел в его руке.

Каждый день Сергей, как никто из нас, с нетерпением поджидал высокую девушку-почтальона Ольгу. Он бежал к ней навстречу и спрашивал одно и то же:

— А мне нет письма?

Ольга всегда отвечала:

— Ещё чернила разводят.

— А ты лучше поищи в сумке, может,

затерялось. Я давно письмо должен получить с фронта,— настойчиво твердил Серёжа.

Как-то, вволю нахлестав своего «жгучего врага», он подозвал меня.

Я оставил Олю и Валю.

Серёжа не хотел, чтобы нас слышали, и потянул меня за рукав.

Мы отошли в сторону, и он сообщил, что наконец и ему приснился сон.

Серёжа посмотрел по сторонам и, убедившись, что никто нас не слышит, зашептал:

— Я видел во сне Чапаева. Он подъехал ко мне на коне и сказал: «Поезжайте на фронт фашистов бить». Шея коня и грудь Чапаева были обвиты пулемётными лентами. Как только приедем на фронт, нам выдадут сабли!

Я молчал.

— Твоя Оля никуда не денется,— сказал Серёжа, как бы отвечая на мои мысли. Он порылся в кармане и протянул мне большую перламутровую пуговицу: — У меня таких две. Это орден Чапаева. На станцию пойдём пешком, а когда нас догонит автобус, покажем ордена, и нас довезут. А теперь — молчок.

— Ладно,— сказал я.

— Береги орден и никому не показывай,— предупредил Серёжа.

Без меня Оля расхныкалась.

Мне стало очень жалко сестру. Что будет с ней, когда я убегу? А бежать придётся.

Я не удержался и протянул Оле пуговицу, объяснив, что это «орден Чапаева». Она сжала её в руке и долго не выпускала.

Потом Валя пришила эту перламутровую пуговицу ей на платье. Девочки завистливо поглядывали на Олю. Ни у кого из них не было такой драгоценности.

Мы начали играть с ребятами в «куликушки» — так называли у нас в детдоме игру в прятки.

Самое трудное — найти место, которое было бы ещё не известным, поэтому мы прятались с каждым разом всё дальше и дальше — ведь наш детдом растянулся на целый квартал.

Я стянул с верёвки сушившийся на солнце мешок и залез в него.

И вот что произошло, пока я прятался. Серёжа проходил по двору. Увидел на Оле «орден Чапаева», подбежал к ней, толкнул, а когда она упала, схватился за пуговицу.

Услышав вопль, я стянул с себя мешок и увидел: Оля лежит на земле, Андрей с ходулей свалился, а Сергей бежит в мою сторону.

Я кинулся ему навстречу. Он остановился. Его лицо покраснело. Он сжимал кулаки. Как мне хотелось на него наброситься и наколошматить! До сих пор не знаю, почему я этого не сделал.

Серёжа сжал губы. Я думал, что он бросится наутёк, а он замер на месте. Таким Серёжа бывал, когда, нахмурившись, силился что-то вспомнить.

Я оставил его и поспешил к Оле.

Валя помогла ей подняться, стряхивала землю с её волос.

— Как он мог так! Погоди! — крикнула она.

Оля дрожала; сквозь слёзы я мог разобрать только одно:

— Зашейте мне платице!

Оказывается, Серёжа вырвал пуговицу вместе с материей.

Его отвели к Капитолине Ивановне.

Мы не видели его ни за обедом, ни за ужином. Нам рассказали, что он лежит на кровати Ка-

питолины Ивановны, уткнувшись лицом в подушку, и горько плачет.

Что бы ни говорила ему Капитолина Ивановна, он отвечал только одно:

— Я не хочу жить в вашем детдоме, убегу!

А когда Капитолина Ивановна спросила его, что же ему не нравится в детдоме, он долго не отвечал, а потом сквозь слёзы пробурчал:

— Койки не нравятся...

И наотрез отказался просить прощения.

На следующий день Серёжа сидел за общим столом, но ни с кем не разговаривал. На меня он не смотрел.

— Эх ты, на кого налетел! — сказала ему няня Дуся.

Капитолина Ивановна строго на неё посмотрела.

После обеда — во время тихого часа — койка Серёжи была пуста. Не пришёл он и к ужину.

Его долго искали и в доме Степана Разина, и в городском саду, и на чердаках. Как в воду канул!

Няня Дуся даже в газетный киоск заглянула.

— Взмахнул крыльями и улетел, — говорила она, сокрушаясь.

Капитолина Ивановна была очень расстроена. Она несколько раз ходила в милицию, и к нам пришёл милиционер. Всё спрашивал меня о Серёже. Я рассказал о том, что Серёжа видел во сне Чапаева и звал меня с собой на фронт.

Засыпая, я виновато посмотрел на пустую койку. Я подбадривал себя, ругая Серёжу. Тоже друг — надружил: избил сестрёнку из-за какой-то пуговицы! Обойдёмся и без него. Но тут же другой голос возражал: «И это называется быть вместе до самой смерти». Сам радовался, а друг горевал. Дёрнуло же меня похвастаться

пуговицей. Разве так держат слово? Сестру нашёл, а друга близкого потерял.

Может быть, он сейчас бросает гранату в окно фашистского штаба или, став адъютантом известного сталинградского генерала Родимцева, с наблюдательного пункта смотрит в бинокль...

Ещё недавно Оля ни о чём не спрашивала, ничем не интересовалась. Но шли дни, она поправлялась и уже не только смотрела, как другие играют, но и сама придумывала разные игры.

Однажды на берегу домашние, или, как мы их называли, родительские, девочки играли в продавцов и покупателей, «отоваривали карточки». «Покупатели» становились в очередь и чернильным карандашом выводили на ладонях номера. Одна девочка протягивала другой бумажку, а та её отпускала колбасу из глины...

У наших девочек такая игра не получалась, зато они подолгу играли в раненых и санитарок, доставляли в «окопы» воду... Оля взяла небольшое стёклышко, чуть поцарапала палец, приложила к царапине ватку и сказала:

— Это ранка.

В другой раз она вымазала лицо вишнями, легла рядом с «ранеными» куклами и потребовала, чтобы ей сделали перевязку. А когда кончилась игра, побежала к Вале:

— Я рожицу замазала, а ты отмажь!

Оля забралась на колени к Вале и начала одолевать её вопросами:

— Почему улитки сами на себе свои домики носят?.. Как это солнышко держится в воздухе?.. Будет ли светло на улице, если ночью выпустить нашу кошку с зелёными глазами?..

Сидят рядышком, шепчутся, тараторят;

умолкнут и опять жужжат, как жуки в майский день.

Уморив Валю, Оля принималась за меня. Она вспомнила, как, ещё живя дома, дула на одуванчики. И здесь их уйма — особенно в овражке. Мы забирались туда, и я сдувал «одудяги» один за другим прямо Оле в лицо. Она подставляла руки под пушинки и кричала:

— Снег идёт!

И требовала, чтобы я снова дул и дул. А я уже устал.

— Дуй!

— Не буду.

— Ещё! Дуй, дуй! — настойчиво повторяла Оля и ударила меня по губам.

Как я ни крепился, но не выдержал и схватил Олю за ухо. Оля завопила на весь овраг. Валя подбежала к ней. Оля всхлипывала, губы её вздрагивали, а Валя смотрела на меня как на последнего человека.

Девчонки пошли в одну сторону, я — в другую.

На следующий день я первым делом узнал у тёти Фени, как Оля провела ночь.

— Спала-то сладко, а болтать — болтала.

Я вошёл в спальню. Оля в рубашонке стояла на койке. Увидела меня и захлопала в ладоши. Я подошёл ближе как ни в чём не бывало.

Оля смотрела на меня блестящими глазёнками и улыбалась:

— Я видела во сне маму. Она принесла мне гостинец.



СТАРЫЕ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

— А ну, петушки, пора на нашест! — С этими словами няня Дуся загоняла нас в спальню.

Голос у няни Дуси резкий и даже хриловатый. Всё она умела, только не могла научиться говорить шёпотом, а если начинала шептать, ещё громче получалось. Поэтому она ничего не могла держать в секрете.

Няня Дуся часто сама шутила над собой, может быть, потому, что другим и в голову не приходило пошутить или посмеяться над нашей богатырской няней.

Она напоминала нам, что мы в детдоме стали «как бары», а «в жизни бывает всяко», и любила повторять, что «без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

И вот няня Дуся выключила «большой» свет, оставив гореть только одну лампочку.

Я завернулся с головой одеялом. Так хотелось, чтобы скорей пролетела ночь и наступило «завтра»!

Чтобы ночью ходить как можно тише, няня Дуся снимала свои истоптанные, похожие на широкие плоскодонки шлёпанцы, но всё равно и под её босыми ногами скрипели доски.

Я проснулся после третьих петухов. Наступило первосентябрьское утро.

В этот день я снова пошёл в школу, во второй класс.

Снаряжать в школу нас начали задолго, ещё летом.

Откуда-то издалека прибыли пачки с новенькими учебниками. Взрослые несли в школу столы, табуретки. Я даже видел, как один гражданин торжественно нёс глобус.

Все старались, чтобы мы выглядели как можно лучше. Многие из нас к этому дню получили новые ботинки. Девочкам сшили в Швейпроме новые платья.

В школу нас провожал весь город. Первого сентября мы чувствовали себя как в день Первого мая, несмотря на то, что в садах снимали яблоки и повсюду на солнце сушились гирлянды нарезанных яблок.

Я шёл в паре с Валею Олейник. Она почти не прихрамывала и старалась идти в ногу. Так уж было заведено — идут детдомовцы, как дисциплинированные бойцы.

Городской военный комиссар вместе с Капитолиной Ивановной проводили нас до самых дверей школы.

Учитель вошёл в класс. Очень молодой. Мы сразу обратили внимание на пустой правый рукав его пиджака.

Так тихо было в классе, что я даже услышал, как подо мной скрипнула старая парта.

На первом уроке учитель рассказал нам о том, как сражается на фронтах Красная Армия.

...Пока мы были в школе, в детдоме произошло событие, о котором нам сразу же сообщила няня Дуся:

— Непутёвый вернулся!

Я не верил своим ушам.

Капитолина Ивановна утром вышла из своей комнаты и чуть не набила дверью шишки двум мальчишкам. Один из них был Серёжа Бесфамильный.

— Мне нет письма? — спросил он.

— Сначала умойтесь, а разговаривать потом будем, — ответила Капитолина Ивановна.

А «потом» Серёжа отпрапоровал: вместе со своим спутником Славой прибыл к началу за-

нятий. Они хотели бы тотчас отправиться в школу.

Я увидел их в окне медпункта.

— Ну, что глаза выпучил? — по своему обыкновению, прокричал мне Серёжа, даже в ушах зазвенело. — Залазь сюда!

Камень свалился с моего сердца...

...Койку для Серёжи поставили рядом с моей.

В нашей спальне будет жить и Слава, которого Серёжа встретил во время своих скитаний.

Как оказалось, Слава бежал уже из нескольких детдомов, искал самый лучший. Серёжа убедил его, что наш детдом — самый лучший.

Мне не терпелось узнать, где же был Серёжа.

Из его сбивчивых рассказов я понял только, что до фронта Серёжа не добрался. Зато побывал в Москве и во многих других городах. Со Славой он встретился совсем недавно, когда их задержали на станции Грязи.

По словам Серёжи выходило: чтобы путешествовать, совсем не обязательно иметь железнодорожный билет, надо уметь разговаривать с проводниками, контролёрами и быть в хороших отношениях с пассажирами. Пищу и всякие там продовольственные карточки тоже иметь не обязательно. В пути всегда накормят, и не какой-нибудь ячменной кашей, а консервами «Второй фронт»: свиной тушёнкой и беконом. А Слава рассказывал, что Серёжа и в вагонах и на станциях подходил к военным, пристально разглядывал их, просил помочь разыскать отца.

Сам же Серёжа с неохотой рассказывал о своём далёком путешествии. Как-то вечером он подозвал меня, вытащил из-за пазухи что-то

завёрнутое в тряпочку, развязал узелок и торжественно спросил:

— Видал? Это что?

— Ну, фонарик.

Он посмотрел на меня с презрением.

— Сам ты фонарик! Не фонарик, а прожектор! Если появится над нашим детдомом какой-нибудь «мессершмитт», будем этим прожектором фашистов сбивать. Ты только посмотри, как он светит!

И Серёжа нажал кнопку. Нажал раз, другой — «прожектор» не загорелся. Тогда Серёжа начал подкручивать лампочку, а потом вывернул её и посмотрел на свет.

— Всё в порядке, сейчас засветит.

Но и это не помогло. Тогда он вытащил батарейку, начал ощупывать её руками, высунул язык и лизнул батарейку. Но как ни старался, ничего у него не получилось.

К нашей общей досаде, Серёже не удалось показать мне «прожектор» в действии. Батарейка отслужила свой срок. Серёжа так огорчился, что я уже подумал, не отправится ли он снова в «бега» — в Москву, за новой батарейкой.

Он удивил меня в первое же утро. Я проснулся, смотрю — Серёжина кровать опять пуста. Оказывается, он переселился под койку и там, на полу, проспал всю ночь. А когда я не захотел последовать его примеру, он посмотрел на меня с сожалением:

— Ты, Гена, жизни не знаешь!

Вскоре ещё одно событие произошло в нашем городке: к нам с фронта прибыла гвардейская часть. Набраться сил перед новыми боями.

В городке сразу стало тесно. И на улицах и во дворах стояли и маленькие машины,



выкрашенные в зелёный цвет, обтянутые брезентом, и широкие сильные грузовики. Таких я раньше не видел.

Мы разглядывали боевые награды гвардейцев, забирались к ним на колени, чтобы потрогать ордена.

Гвардейцы стали шефами детдома. Они привезли нам целую машину с куклами и кухонной игрушечной посудой.

Оля завладела двумя куклами, похожими друг на друга, как две капли воды.

Нам же, мальчишкам, гвардейцы подарили футбольные мячи и полный набор инструментов для духового оркестра. Когда гвардейцы пришли к нам в гости, мы устроили им концерт.

Гвардейские машины часто появлялись на нашем дворе, привозили дрова и уголь.

Мы всегда принимали участие в разгрузке этих машин, потому что нам всем очень хотелось посидеть в машине. Мы могли подолгу торчать в пустом кузове и «ехать», хотя машина стояла на месте.

Шефы отремонтировали нам крышу и поставили на кухне новую плиту.

На улице мы не пропускали ни одного военного, становились навытяжку и первыми козыряли гвардейцам.

Глава двадцать четвёртая

ГОЛУБОЙ ОБЕЛИСК

Валя заболела в хмурый, ненастный день. Хлестал дождь, завывал порывистый ветер. Наверное, в такую погоду птицы разбиваются о телеграфные провода.

Вале стало лучше, когда вернулись ясные, но уже короткие и прохладные дни. Иней посеребрил бурю траву, морозец подсушил дорогу, и Валя снова пошла в школу. Несколько дней походила и опять слегла, на этот раз надолго. Мы знали: Валина болезнь называется «ревматизм». У Вали болит сердце.

Светлана твёрдо обещала сразу же, как только Валя немного поправится, достать ей путёвку в уже освобождённый Кисловодск или Мацесту, где люди пьют целебные воды и лечатся волшебными грязями.

Валя очень хотела скорей вылечиться.

— После укола мне легче, — радовалась она.

Няня Дуся сердилась на Светлану, что девочку так часто колют. И я думал: «Неужели нельзя обойтись без каких-то уколов?»

Няня Дуся решила лечить Валью по-своему. Она растирала её самодельным лекарством — муравьиным соком — и приговаривала:

— Ты, Вальюша, не горюй, ещё по деревьям будем с тобой лазить, орехи за пазуху собирать. Муравьи-то ведь не хуже докторов — разумная тварь, полезная.

И действительно, после няниного лекарства Вале стало лучше, и она мечтала:

— На санках буду кататься...

В первые дни после своего возвращения Серёжа сторонился Вали, но после того как она перестала ходить в школу, захотел навестить её.

Он пошёл со мной, но очень смущался. А когда увидел Валью, заволновался и хотел уйти, но Валя спросила:

— Ты не сердишься на меня?

Серёжа замотал головой.

В комнату вошла Светлана Викторовна. Се-

рёжа сразу же стал говорить, что наши учёные скоро обязательно изобретут такое лекарство, чтобы сердце никогда не болело, а лёгкие не уставали дышать.

— Но ведь, для того чтобы изобрести такое лекарство, надо много знать, много учиться,— сказала Светлана Викторовна.

— А мы и будем много учиться,— ответил Серёжа.— И такое лекарство дадим ей.— Серёжа показал на Валю.

Все мы тогда очень обрадовались будущему Серёжиному лекарству.

Каждый раз, когда я шёл к Вале, Серёжа увязывался со мной. А потом стал ходить в изолятор и без меня. Он расспрашивал Светлану Викторовну о разных болезнях; любил поболтать и пофантазировать. Валя с удовольствием его слушала и смеялась.

Когда мы были в школе, к Вале приводили и Олю. Оля осторожно подходила к кровати, взбиралась на стул, поставленный у изголовья, и просила, чтобы Валя ей что-нибудь рассказывала.

Но Валя быстро уставала. Вдруг смолкнет, опустит голову на высокую подушку и лежит не шевелясь.

Однажды нас не пустили к Вале.

Оля никак не могла примириться с этим:

— Она мне только одну сказку расскажет, коротенькую.

О том, что Вале плохо, мы видели по Светлане Викторовне. Она не шутила, как раньше, и не говорила, что всё это «пустяки».

Я думал: ведь спасли же нас от тяжёлых снарядов блиндажи в десять накатов. Жили же мы под огнём? Неужели сейчас, когда здесь так тихо, нельзя прикрыть Валю от смерти!

Серёжа узнал, что вместе с гвардейцами в нашем городе находятся и военные врачи; среди них славится один врач — гвардии майор. Артиллеристы говорили, что с таким врачом им и воевать не страшно.

Мы увидели, что Вале понесли большую подушку.

Слава сказал — она наполнена воздухом.

Значит, Вале воздуха не хватает.

Серёжа ткнул меня в бок:

— Надо действовать. Пойдём разыщем военного врача и приведём его к Вале, пусть он спасёт её! Ведь я слышал, он уже многих от смерти спас. Наша Светлана на фронте не была, а он был и опять туда вернётся. Ведь Вале сейчас очень плохо.

То же самое, но ещё убедительней Серёжа повторил няне Дусе.

Я боялся, что она прикрикнет и прикажет сейчас же уgomониться, но няня Дуся даже похвалила Серёжу... Мы быстро оделись. Няня Дуся выпроводила нас, а на прощание приложила палец к губам.

Нас обдал холод. Отойдя несколько шагов от детдома, мы побежали. Люди в городке ещё не спали. Где-то говорило радио. Из щелей в ставнях просачивался свет.

По всему было видно, что Серёжа всё обдумал заранее, оказывается, он уже знал, где живёт гвардии майор.

Мы почистили подошвы о скребок, потоптались в дверях и постучали.

Гвардии майор не рассердился на нас. Усадил и внимательно выслушал.

Говорил, конечно, Серёжа, а я только поддакивал. Гвардии майор не знал, что ответить Серёже на его настойчивые просьбы.

— Но я же только хирург, мальчики. Ваш доктор делает всё, что надо.

— Раз мы пришли за тобой, ты должен пойти с нами,— твердил Серёжа.

— Но ведь уже ночь, зачем будить девочку?

— Ей очень плохо,— сказал Серёжа.

И хирург пошёл с нами.

Помню, как он постучался в дверь изолятора и назвал Светлану Викторовну незнакомым мне тогда словом «коллега».

Хирург попрощался с нами и по-военному строго приказал идти спать. А сам остался в изоляторе.

Няня Дуся встретила нас у самой двери. Она поцеловала меня в лоб, а Серёжа увернулся.

— Ну вот, они теперь подумают вдвоём, и Валя скоро поедет в Кисловодск и будет писать нам письма, а мы ей будем отвечать,— говорил мне Серёжа.

Он вовсе не собирался спать.

— Я, когда вырасту, обязательно стану врачом; только я буду врачом сразу по всем болезням.

— Даже по уху и по горлу? — спросил его Слава. Он проснулся и прислушивался к нашему разговору.

— И по уху и по горлу,— ответил Серёжа.

— Ну вот, утром я тебя так стукну по уху, что ты закричишь во всё горло,— рассердился Слава.— Не мешайте мне спать, врачи!

...Через несколько дней Валя умерла.

Над детским домом был вывешен красный флаг с чёрной каймой.

Серёжа набросился на дверь, хотел сорвать её с петель...

— Её зароят в снег? — спросила меня



Оля. — Или положат в ямку? В ямке хорошо, там пули не достают, верно?

Валя лежала в гробу в белом-белом платье. И учителя из школы, и гвардейцы пришли проводить её в последний путь.

Все жители собрались и горевали вместе с нами.

Валин открытый гроб мы несли на полотенцах.

Няня Дуся шла и приговаривала:

— Нету больше нашей голубки, сгорела, как мотылёк на огне! Загубили птичку весёленькую, не дали пожить ей на свете...

Гвардейцы поставили над могильным холмиком небольшой обелиск, сделанный из досок, и выкрасили его голубой краской. К обелиску прибили красноармейскую звезду, вырезанную из жести.

Весной вокруг голубого обелиска мы посадили цветы.

Глава двадцать пятая

ПОЗЫВНЫЕ

Гвардейцы исчезли так же неожиданно, как и появились — ночью. И когда мы утром узнали, что наших друзей уже нет в городе, стало даже обидно: как же они с нами не попрощались?

Вот что значит внезапность и военная тайна!

Серёжа наклонился ко мне и, как всегда, с таинственным видом назвал номер полевой почты гвардейцев. Это четырёхзначное число невидимой нитью связывало нас теперь и с фронтом и с полюбившимися людьми.

У входа в городской сад на столбе висел репродуктор. Его металлический голос был далеко слышен. Но все старались подойти поближе к репродуктору, особенно когда раздавался хорошо знакомый голос: «Товарищи, сейчас будет передано важное сообщение».

У репродуктора мы не раз слушали далёкие залпы, стараясь не сбиться со счёта. Даже дух захватывало — двадцать артиллерийских залпов из двухсот двадцати четырёх орудий!

Обязательно кто-нибудь приподнимался на носки и спрашивал:

— Какой город освободили?

Как хотелось раньше других громко ответить, называя то Харьков, то Смоленск, то Киев, то Одессу!..

Я мечтал: а вдруг раньше всех услышу по радио, что кончилась война! Услышу и в любой мороз выбегу на улицу раздетым. Буду стучать в окна, будить людей и что есть силы кричать о победе.

Настали холода. Позывные раздавались всё чаще и чаще, а война всё продолжалась и продолжалась...

Как-то вдруг Серёжа ни с того ни с сего спросил меня и Ваню Петрова:

— В каком ухе звенит?

— В левом, — ответил я.

— В правом! — крикнул Ваня.

— Ну вот, молодец! Значит, скоро войне конец, — успокоил меня Серёжа. — А тебе ещё воевать, — сказал он Ване.

Но тот не огорчился, схватил подушку, прижал её к животу, а половую щётку взвалил себе на плечо как ружьё и зашагал по комнате, лихо чеканя шаг.

Однажды во дворе детдома появился высо-

кий военный. Он шёл к конторе, с вещевым мешком за спиной, опираясь на палку.

Я подбежал к нему и заглянул в его измученное лицо. Он был такой усталый, обветренный. Сразу можно было понять: он с фронта...

Капитолина Ивановна увидела его через окно и вышла навстречу:

— Вы ко мне?

А он облокотился на палку и негромко ответил:

— Боюсь вас даже спрашивать...

Он снял с головы серую ушанку и как-то виновато улыбнулся Капитолине Ивановне.

— Как ваша фамилия?

— Давыдов,— произнёс он дрожащим голосом.

— Здравствуйте, товарищ Давыдов. Ваш сын жив. Вы сейчас увидите его.

— Какого? У меня три сына.

— У нас Андрей.

Давыдов покачнулся.

Капитолина Ивановна протянула ему руку.

Но Давыдов сказал:

— Не надо.— Рукавом шинели он вытер лицо и попросил Капитолину Ивановну: — Вы ничего не говорите ему. Узнает ли он меня?

Так вот в кого наш Андрей такой рослый и большеголовый!

А в это время в столовой шла репетиция духового оркестра. Когда открылась дверь и Давыдов вошёл в столовую, трубы затихли. Все сообразили, что этот незнакомый человек неспроста вошёл сюда. И тогда прозвучал голос Капитолины Ивановны:

— Андрей, узнаёшь?

— А! — закричал Андрей и опустил валторну.

Он сделал шаг в сторону отца. Андрей показался мне очень напуганным. Он остановился посреди столовой.

Все «музыканты» повскакали со своих мест.

Давыдов бросил палку и подскочил к сыну. Дрожащей ладонью он провёл по Андрюшиным взлохмаченным волосам. Он целовал его в губы, в щёки, в волосы, в лоб.

Андрей ухватился за отцовский ремень.

— Наши где? — прошептал Давыдов.

— Петя в больнице лежал... Ну, мать и Нюша каждый день туда ходили. Пошли и не вернулись: больницу разбомбили.

Нам об этом Андрей никогда не рассказывал.

— Будем искать их, сынок, всю жизнь будем искать,— сказал Давыдов и замолчал.

Мы усадили его на скамейку. Помогли снять вещевой мешок. Он развязал его, достал огромную плитку шоколада без всякой обёртки, толщиной с полкирпича, и начал всех нас угощать.

Я вспомнил инженера Панкова с «Красного Октября», который знал моего отца и тоже дал мне шоколад в тот день, когда я чуть не подорвался на минном поле.

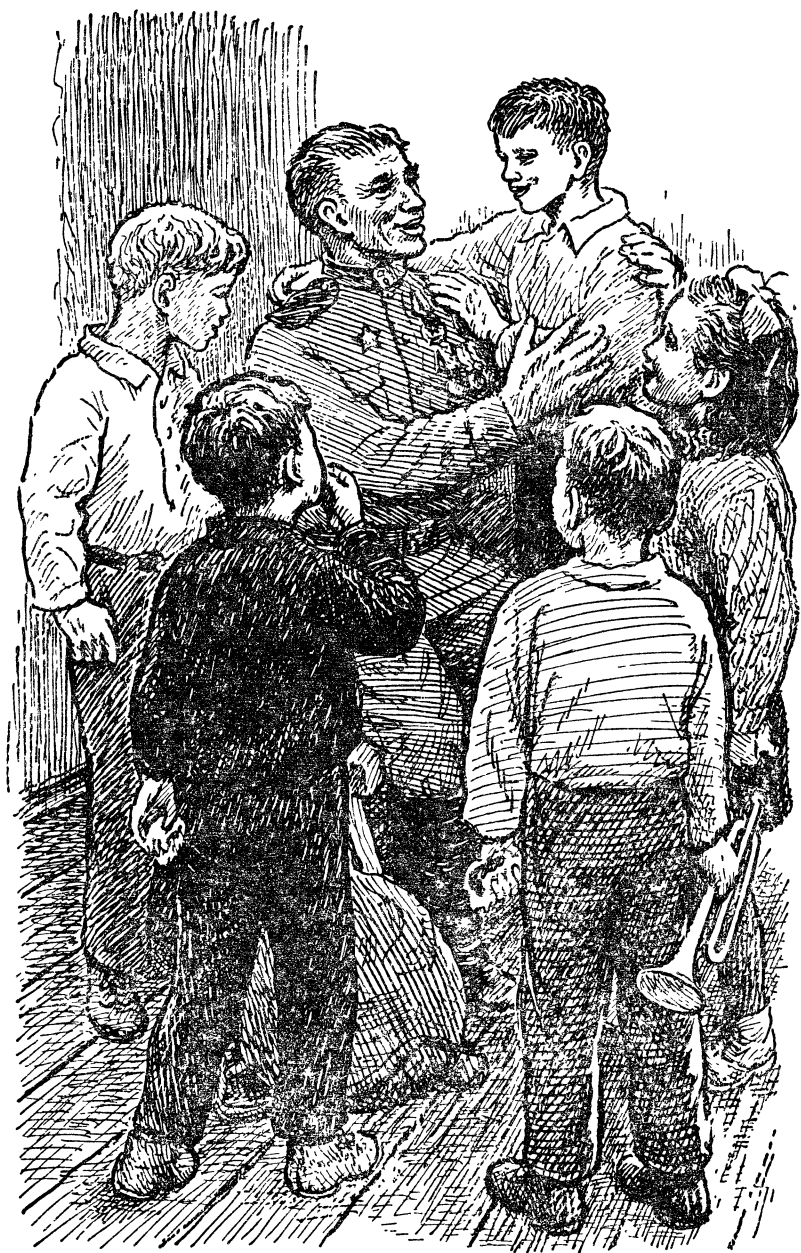
Отец Давыдова со всеми нами знакомился и почему-то всех нас за что-то благодарил. Если бы он знал, что я его Андрюшке в первый же день нашей встречи тумака отвесил!

Хотел Давыдов посадить сына к себе на колени, но Андрюша засмутился.

— Ну брось, папа, я не маленький! — сказал он, моргая глазами. Он мало говорил с отцом и как-то нескладно ворочал длинными руками.

А Давыдов никак не мог насмотреться на сына...

И мне тогда показалось что этот широкоплечий человек такой же маленький, как и мы



все, и не поймёшь — заплачет ли он, как моя сестра Оля, или засмеётся.

В этот день и уроки не лезли в голову. Всем нам ни на шаг не хотелось отходить от Давыдова.

Андрей стеснялся, зато другие ребята лезли к его отцу на колени, осторожно трогали его ордена, гладили зелёные погоны.

Засыпая, я думал про Андрея: «Какой счастливчик!» И сам спросил себя: «Завидно?» Но тут же ответил: «У меня на фронте свой отец».

Мой отец. На голове у него металлическая каска с ремешком, который он затянул, уходя из дому. Он делает короткие перебежки, падает к земле, а потом поднимается и пробивает себе дорогу гранатами. Длинная очередь немецкого пулемёта. Отец падает. Нет, он сам стреляет в упор по врагам родины. Он невредим.

Меня удивляло: какое счастье Андрею привалило, а он только бурчит, сопит да руки о куртку вытирает! И за ужином, как всегда, долго жевал. Ведь это он чаще других получал замечания за неряшливый вид. То в масляной краске измажется, то на свои же шнурки наступит.

Утром отец Давыдова проводил нас в школу. После ранения он ещё не мог быстро ходить, но старался от нас не отставать, и мы шли медленней, чем обычно.

В школе он познакомился с учителями, тоже всех их благодарил и долго не выпускал из своей руки единственную руку нашего учителя Захара Трофимовича.

Все в городе уже знали, что к долговязому детдомовцу, который «лучше всех в городки играет», приехал отец; была у него большая

семья, а встретил только одного сына. Отпуск он получил в госпитале, где лежал после ранения, долечится и скоро опять на фронт вернётся.

Я до сих пор помню один из рассказов Давыдова. Получили фронтовики посылку, а к ней прикреплена записка: «Вручить лучшему бойцу». Вручили лучшему стрелку. Открыл он посылку, а в ней ещё одна записка, тем же почерком написанная: «Дорогой боец! Хотя я тебя и не знаю, но я с любовью посылаю тебе этот гостинец. Ешь на здоровье». Подпись и обратный адрес.

Прочитал стрелок записку, а потом взял карандаш и написал ответ: «Дорогая Наталья! Хотя ты меня и не знаешь, зато я тебя хорошо знаю, и гостинец я твой съел с удовольствием. Как поживает наш сынок? Твой муж Григорий».

«Вот это да! Бывает же!» — думал я.

Больше недели гостил в детдоме Давыдов.

Не узнать было нашего Андрея! Подумать только: к обеду не опаздывал, даже на шнурки не наступал — они у него перестали развязываться.

А когда Давыдов уезжал из городка, старшие девочки испекли ему пирожков на дорогу. Мы все его провожали. Каждый старался попрощаться с ним за руку...

— Папа, а тебя не убьют? — спросил вдруг Андрей, когда отец усаживался в кабину грузовой машины.

— Семь пуль вбили, а ни одной не убили. А теперь руки коротки, — ответил Давыдов.

Ещё что-то хотел сказать наш Андрей, но губы у него задрожали.

А я-то считал его бесчувственным истуканом! Андрей что-то зашептал отцу. По всему было

видно: он боялся расплакаться. Должно быть, теперь он хоть секунду, а посидел бы на отцовских коленях... Но сам Давыдов уже торопил шофёра.

Мы махали платками. А Андрюша застыл на месте. Няня Дуся, вопреки своему обыкновению громко разговаривать, сказала совсем тихо:

— Чует сын кровь отцовскую!

Месяца через два в детдом пришло письмо со штампиком «красноармейское». Давыдов писал сыну, всему персоналу детдома и нам, его товарищам. Мы поместили это письмо в школьной стенной газете. Андрей на каждой переменке подходил к газете.

— И ваши отцы найдутся,— сказал он, поймав мой взгляд.

И в самом деле, ведь, может быть, и нас уже разыскивают, может быть, и нам придёт счастье в конверте!

С каким уважением смотрели мы на начальника городской почты! Он ходил в форменной фуражке и в синей шинели с нашивками на рукаве. Нам казалось, что ему подчиняются не только почтальоны, но все квадратные и треугольные конверты с добрыми и тяжёлыми вестями.

И вот однажды, когда я пришёл из школы, няня Дуся посмотрела на меня как-то по-особенному:

— Ну, карандаш, и я для тебя что-то припасла! — И тут же тихонько протянула мне конвертик.

Я загорелся. Кто же это обо мне вспомнил? Так и написано — крупно и разборчиво: «Гене Соколову». Оказалось: Шура!

Только я взял письмо в руки, как няня Дуся опять сказала:

— А у меня для тебя ещё что-то есть.

Она достала ещё один конверт, на котором той же рукой было выведено: «Гене Соколову». Смотрю — вслед за ним и третий конверт в нянинных руках.

Тут я не стал больше ждать, разорвал конверт и начал читать первое письмо. Все эти письма были от одного человека, писались в разное время, а пришли вместе. Хотя в каждом письме было написано почти то же самое, я их перечитывал без конца: хранил под подушкой, брал с собой в школу!

Шура долго разыскивала меня, писала подругам, посылала запросы.

Я написал Шуре обо всём, а главное, о том, что наконец встретился с Олей. И для большей убедительности я обвёл Олину руку на листке бумаги цветными карандашами — каждый пальчик другим цветом. И стал с нетерпением ждать Ольгу-почтальона. Только и думал: «Сегодня не было письма — будет завтра».

Много прошло дней, пока я получил ответ от Шуры. На этот раз это был большой, красивый треугольник.

Шура передавала поклон всему детскому дому.

Конечно, я сразу же ей ответил. Только запечатал конверт и произнёс про себя: «Лети, моё письмецо, прямо Шуре в лицо, да смотри не оглянись, никому не попадись», как ко мне подбежал Серёжа, очень обеспокоенный.

— Распечатывай конверт! — потребовал он. — Напиши, чтобы прислала мне батарейки для карманного фонаря.

Я пообещал Серёже написать об этом Шуре в следующем письме.

Мы жили приказами и сводками. Репродук-

тор доносил до нас далёкий шум битвы. Как ликовали все мы, когда узнали, что советские пули уже перелетают границу Германии!

Теперь воспитательницы всё чаще расспрашивали нас о том, что мы помним, где и с кем жили до войны. С каждым днём на адрес детдома стало приходить всё больше и больше писем из освобождённых городов.

Из города Бережаны запрашивали об Анатолии Пономарчуке. У нас жил Анатолий Пономарчук, но он, как оказалось, никогда даже не слышал о Бережанах и хорошо помнил, что жил на станции Касторная.

Только теперь понимаю я, как были терпеливы и настойчивы неутомимая наша Капитолина Ивановна и её помощники. Сколько пришлось выслушать им бессвязных речей и сбивчивых ответов! Что могли рассказать о себе малыши, эвакуированные из яслей?

Многие из нас фантазировали и путали. Один мальчуган всё просил написать отцу на фронт. «Его там сразу найдут, у него ремешок с дырочкой».

Земфира не помнила, где жила до войны. Она потеряла мать, когда бомбили дорогу, и какая-то чужая женщина надела ей на шею крестик, выбитый из серебряной монетки.

Больше всех путал Слава. У него были какие-то неприятности в каком-то детдоме, там его называли «конченным». Одна тётя дала ему денег на дорогу и сладости, уговорив, чтобы он не возвращался.

А однажды Слава вдруг признался, что его сильно лупила мать, а он разбил глиняный горшок с молоком и, боясь наказания, удрал из дому, на станции сел в первый поезд и уехал куда глаза глядят.

Серёжу Бесфамильного никто ни о чём не спрашивал. Кроме него, у нас была и Нина Неизвестная. Она тоже ничего не помнила. Увидев на улице девочку с куклой, подбежала к ней и закричала на всю улицу:

— Я не Неизвестная! Я не Неизвестная! Барышникова моя фамилия, Барышникова! У меня тоже такая кукла была, мне её папа купил!

Через несколько дней пошли в загс, переименовали её фамилию Неизвестная на Барышникова. И вспомнила Нина, что её отца звали Александром. Стала она Ниной Александровной.

Вот и я думал, что бы нам такое Серёже показать, чтобы и он сразу всё вспомнил...

Мы мечтали, что нас найдут, разыщут. Только бы кончилась война!

И вот настал день, которого мы все так ждали.

«Широка страна моя родная», — пропели без слов звонкие позывные, и опять зазвучал такой знакомый, торжественный голос. Мы знали, что наши в Берлине. И ждали самого важного сообщения, но когда накануне легли спать, ещё шла война, а проснулись — настало мирное время.

Войне конец!

Мы сбивали друг друга с ног, носились из корпуса в корпус, обнимались. Хотелось обежать весь город.

Няня Дуся в этот день вдела в уши большие позолоченные серьги.

Голова кружилась от запаха цветущих яблонь и груш, от радости возбуждённых голосов и криков «ура».

Над детдомом вывесили красный флаг.

Мы кувыркались на молодой, пушистой траве.





А потом собрались все вместе во дворе у ступенек конторы.

Капитолина Ивановна как-то необыкновенно произнесла:

— Товарищи дети! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой!

И потом прочитала последние слова приказа о великой победе:

— «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа».

Стояла мёртвая тишина. Все мы думали о тех, кто не дожил до этого дня.

Вернётся или не вернётся с войны мой папа?

В тот же день, не успели мы выпить вечерний чай, как услышали совсем рядом боевые звуки марша. Некоторые даже растерялись. Откуда появился вдруг в городе военный оркестр?

Не все сразу сообразили, что это наши собственные музыканты. Настоящий оркестр, будто у нас не детский дом, а гвардейский полк! Мы окружили его и начали плясать кто как мог.

А когда стемнело, и в нашем городке начался салют. Правда, залпы были не из тысячи пушек: раздавались лишь одиночные выстрелы. Это падали в воздух милиционеры.

Мы с Серёжей тоже решили устроить свой «салют». Шура прислала мне карманный фонарик и несколько батареек. Мы бегали с Серёжей по двору и освещали лица людей и верхушки деревьев. Вот наши лучи скрестились и вырвали из темноты лицо Андрея. По случаю Дня Победы он шагал по двору на небывало высоких ходулях...

В тот вечер в садах и прибрежных кустах Невелички пели соловьи.

С тёмного неба на нас смотрели тысячи звёзд.
Не было конца нашей радости, нашим надеждам.

Глава двадцать шестая

ГАЛЯ — ГАЛИНА ИВАНОВНА

Один за другим в наш городок возвращались демобилизованные. Были среди них и девушки в пилотках; на их гимнастёрках сияли ордена и блестели нашивки.

По медалям и лентам мы узнавали и сталинградцев, и тех, кто оборонял Москву и Ленинград, и тех, кто штурмовал Берлин и освобождал Прагу.

Однажды во дворе детдома я обратил внимание на высокую девушку: сразу видно — приезжая. Смуглое лицо, тёмные, чуть прищуренные глаза, и одета она как-то необычно: большие ботинки на толстой подошве; яркая, вся в цветах, широкая юбка, короткая курточка. За её плечами болталась сумка на рыжих ремнях.

Я посмотрел на неё, она — на меня.

Мы узнали друг друга. В первую минуту я не мог произнести ни слова. Ну конечно же это Галя, Галя Олейник, Валина сестра! Она, оказывается, уже всё знала и приехала в детдом вместе с Капитолиной Ивановной, которую по делам вызывали в Сталинград, в облоно.

В тот же день мы пошли на кладбище. Галя тихо стояла у голубого обелиска. Все молчали.

Неожиданно раздался голос няни Дуси. Я даже вздрогнул.

— Слышишь, девонька, сестра пришла!

Поворотом головы и взглядом Галя остановила няню. В её глазах я не увидел и слезинки. В своей странной одежде она казалась мне кругосветной путешественницей. Она стояла рядом со мной, плотно сжав губы.

Вдруг Галя сделала шаг и опустила голову на грудь няни Дуси. Няня растерялась. Она гладила Галю по чёрным волосам.

Капитолина Ивановна предложила Галине Олейник работать у нас в детдоме. Галя согласилась.

Нашей группе не везло с воспитательницами, они часто менялись. Одна, как узнала, что освобождён её родной город, быстро собралась в путь; другая совсем недолго у нас побывала — вышла замуж за гвардии лейтенанта и уехала вместе с ним на фронт.

Теперь Галя стала воспитательницей нашей группы. Я почувствовал себя так, точно и меня, неизвестно за какие заслуги, «повысили в чине».

Вначале мне было трудно называть её Галиной Ивановной, и, когда мы оставались вдвоём, я, как и прежде, называл её Галей.

Как-то в воскресный вечер мы с Галей, Серёжей и Олей были в гостях у Светланы Викторовны. Пили чай из самовара, с вареньем из тёрна и вспоминали, как летом собирали тёрн в лесу и колючки кололи нам руки. Мы пили горячий чай, а на улице кружил февральский ветер, заметал снежную пыль.

Мы ели пирог и слушали музыку. А когда кончилась передача, Галя начала рассказывать о том, как привезли её на окраину Берлина в бараки, обнесённые четырьмя рядами колючей проволоки. Там её долго осматривали богатые

немцы, заставляли открывать рот, нагибаться, поворачиваться кругом. Её купила маленькая толстая немка, жена генерала.

Жила генеральша в особняке. Она поместила Галю в длинной, узкой комнате за кухней.

В первый же день Галя вымыла горю грязной посуды, перетрясла все ковры и убрала семь комнат.

Генеральша на хлебрезке отрезала тоненький кусочек хлеба и кинула ей, пододвинув миску с какой-то коричневой жидкостью.

Хозяйке не нравилось, как Галя стелила скатерть, как раскладывала ложки. А дети её были капризны...

Но особенно донимал Галю хозяйский сын. Он ходил в чёрной форме с блестящими аксельбантами, перекинутыми через плечо, потому что состоял в организации маленьких фашистов — гитлерюгенд.

Этот гитлерюгенд часто кидал в Галю свои ботинки, смеялся и противно фыркал: «Фи, фи». Иногда он вдруг начинал кричать: «Ура! Ура! Галя, Галя, твой рус-солдат валит в штаны!»

У нас горели глаза. Эх, схватить бы его за эти аксельбанты!

А Галя всё рассказывала...

Муж хозяйки, генерал, воевал на Восточном фронте. Галя каждый день убирала его кабинет. На одной стене в позолоченной раме висел портрет длинноухого и надменного владельца кабинета; напротив же, тоже в раме,— портрет его любимой собаки.

А потом, в 1943 году, начались сильные бомбардировки Берлина. Самолёты летели низко над крышами, грохот моторов и взрывов сотрясал даже стены глубоких подвалов.

После налёта советских самолётов Галя, выйдя из бомбоубежища, увидела берлинские дома, объятые пламенем.

Всё чаще и чаще она слышала, как генеральша и её гости стали произносить слово «Сталинград».

Вскоре в Берлине был объявлен шестидневный траур. Немцы ходили злые и мрачные, с чёрными повязками на рукавах пальто. А Галя радовалась: выстоял и победил Сталинград!

Тут Оля не выдержала, соскочила со стула и, подпрыгнув, бросилась обнимать Галю. Она забралась к ней на колени, обвила её шею руками и, не отпуская от себя, повторяла:

— Ещё, ещё рассказывай!

Глава двадцать седьмая

ЛАМПОЧКИ

Война кончилась, а у нас в детдоме стало беспокойней. Каждый ждал каких-то перемен в своей судьбе.

Всё чаще приезжали отцы и матери. На наших глазах происходили незабываемые встречи.

А некоторые уезжали ни с чем: в списках облоно была большая путаница. В них значились даже и те, кто всего несколько дней прожил в нашем детдоме, а потом был отправлен дальше. Но эта-то путаница и вселяла в нас надежду. Приедет кто, а сердце не на месте: может, это за мной?.. Может, это мне привалило такое счастье?

Как-то у нас в городке на несколько дней остановились цыгане. Начали цыганки ходить из

дома в дом, предлагали погадать. Им и рассказали, что в детдоме маленькая цыганка живёт.

Мы говорили Земфире:

— Вот и за тобой приехали!

Она очень испугалась, раньше была такая весёленькая, а теперь притихла; боялась и нос высунуть.

— А откуда вы знаете, что я цыганка? Это кто-то меня ударил палочкой, вот я и почернела.

— Если бы ты была не цыганкой, ты бы так плясать и петь не умела,— говорили мы ей.

Однажды цыгане толпой подошли к детдому.

Узнав об этом, Земфира спряталась, а мы выбежали во двор на цыган посмотреть.

Хотели они в корпус зайти, но сторож их не пустил. Больше всех шумела старая цыганка:

— Отдайте нам нашу девочку! Будет у нас жить, монетками звенеть будет. Цыган цыгана никогда не обидит.

— Она вовсе не ваша, а наша,— возразил кто-то старой цыганке.

А она не унималась:

— Нехорошо птичку в неволе держать.

— У нас не неволя, а специальный детский дом,— спокойно объяснил сторож.

— У вас гнёздышко, дорогой человек, умная головушка, но пора птенчику из гнёздышка выпорхнуть; отвыкнет девочка от цыганской жизни. Послушай старую цыганку, будет тебе закуска, будет и выпивка.

Только после того, как Капитолина Ивановна вмешалась, цыгане оставили нас в покое, а вскоре и вовсе покинули городок.

Курчавая, смуглая Земфира опять стала непоседой и даже хвасталась:

— Если бы они схватили меня за руку, я бы всё равно вывернулась и убежала.

Вскоре приехали к нам из Сталинграда муж и жена. Мы сразу поняли, что приехали они неспроста, а хотят кого-то из нас взять «в дети». На кого падёт их выбор?

Увидев Земфиру, муж и жена переглянулись. Мы поняли их безмолвный разговор. Земфира покорила их с первого взгляда.

Всем детдомом провожали мы Земфиру. А когда прощались, она вдруг расплакалась и долго обнимала тётю Феню!

Хоть и не с цыганами, а выпорхнул «птенчик из гнезда».

Как-то прибежала ко мне в корпус Оля. Я рисовал в комнате для групповых занятий. Оля всегда любила разглядывать мои рисунки, а сейчас не обратила на них никакого внимания, только дёрнула меня за рукав:

— Ой, боюсь, какая-то тётенька к нам приехала и на меня так смотрит...

Мне пришлось долго её успокаивать:

— Вдвоём нас никто не возьмёт, а Капитолина Ивановна никогда нас не разлучит. Мы теперь всю жизнь будем вместе.

Я нарисовал ей дом в саду.

После того как в августе 1945 года позывные возвестили о победе наших войск над фашистской Японией, мы снова стали ждать наших отцов.

Мы были уверены, что именно на Дальнем Востоке задержались наши отцы: надо только вооружиться терпением и по-прежнему ждать.

И вот наконец увидели и у нас в городке

медаль «За победу над Японией»: к нашему школьному товарищу Рафе Козодону приехал отец.

Мы с Серёжей долго разглядывали розовые, синие и зелёные полосочки на груди Рафиного отца.

А когда мы вернулись в свою спальню, Серёжа плюхнулся на койку. Он лежал так несколько минут, а потом вскочил и схватил меня за руку:

— Почему за нами не едут отцы? Ведь был же и у меня какой-нибудь папа, и мама, должно быть, была. Хоть бы кто-нибудь приехал!

Что я мог ответить Серёже?

Серёжа, выбежав из спальни, нашёл во дворе пустую бутылку, поставил её на бочку и метким ударом камня разбил.

У нас в детдоме все мальчишки любили швырять камни. Один только Слава не кидал камней. Он был среди нас самым аккуратным и вежливым; его рубашки не пачкались и не мялись, на его ботинки боялась садиться пыль. Он хорошо учился и двоечников называл «тюфяками». Говорил он медленно, не спеша; любил, чтобы его слушали.

Особенно часто Слава навещал палатку, в которой неразговорчивый дяденька в тёмных очках принимал пузырьки, бутылки, тазы без дна, исписанные тетрадки и даже лошадиные хвосты. Слава любил ходить по рынку. Однажды он взял с собой Серёжу и угостил его сладким донским каймаком.

И вот, когда мы играли в доме Степана Разина, Слава сказал нам насмешливо:

— Эх вы, голытьба!

Себя он, похоже, счёл атаманом.

— Тут некоторые нюни распускают, ждут

чего-то, на почту надеются. Всё это пустяки и ерунда.

Никогда раньше Слава так не говорил.

— Никто нас не ищет. Да и вообще, кому это может прийти в голову искать нас в такой дыре? Мы сами должны искать, а для этого нужны деньги.

— Правильно! — подхватили мы.

— Мы должны дать объявление во всех газетах, объявить по радио, что Гена Соколов ищет отца, Ивана Соколова...

И как это раньше мы до этого не додумались!

— А твой портрет надо повесить в окнах многих фотографий и в Москве, и в Ростове, и в Сталинграде. Не может быть, чтобы среди тысячи прохожих не нашёлся хотя бы один человек, знавший тебя раньше, — сказал Слава.

Через несколько дней на кладбище мы сняли железную ограду, окружавшую заброшенную могилу, и сдали её утильщику.

Потом Ваня Петров под руководством Славы срезал хвост у лошади, оставленной хозяином возле мельницы...

Один из нас уже знал, что ему не надо искать отца. Это был Андрей Давыдов. Детский дом ещё осенью 1945 года получил письмо из части, где воевал его отец. Командование сообщило, что отец Андрея погиб смертью храбрых во время штурма Берлина.

А ещё через несколько месяцев Капитолина Ивановна собрала нас всех в зале. Мы почтили память отца Андрея. Командование прислало сыну орден отца — орден Отечественной войны I степени.

...Новый 1947 год мы встретили костюмированным балом.

Под звуки детского духового оркестра плясали друг с другом рогатые чудовища и бабочки с марлевыми крылышками.

Андрюша играл в оркестре.

Ваня Петров бил в барабан.

Только Слава со скупающим видом, прислонившись к стене, стоял в стороне.

Вот к нему подскочил заяц и поднял лапки.

— Эх ты, косой! — произнёс Слава и отвернулся от зайца.

Мне даже показалось, что больше всего он смотрит не на танцующих, а на электрические лампочки, которые в этот вечер светили особенно ярко.

Я уже лёг спать, когда Слава и Серёжа на цыпочках, боясь потревожить спящих, вошли в спальню.

Серёжа держал в руках несколько лампочек. Он заметил, что я не сплю, подошёл ко мне и шёпотом поведал очередную тайну. Эти лампочки они вывернули, когда кончился маскарад, а вместо них ввернули другие, перегоревшие. Вывернутые лампочки Слава отдаст одному дяденьке на рынке. Дяденька хорошо за них заплатит. И мы скоро соберём кучу денег и объявим о себе во всех газетах и по радио.

Я, конечно, понимал, что не так уж хорошо вывёртывать лампочки в своём доме и нести их на рынок какому-то дяденьке. Но я думал — раз за это взялся Слава, наши объявления о розыске родных появятся и в районной газете и в «Сталинградской правде». А может быть, даже по радио передадут на весь Советский Союз...

Только начали тяжелеть веки, как сквозь сон увидел я няню Дусю с кочергой в руке.

Она подошла к Славиной кровати.

— Ах ты, дрянь, улёгся, как ангел! — произнесла она «шёпотом» на всю спальню.

— С Новым годом, бабуня! — ответил ей Слава.

— Говори, куда лампочки дел? — строго спросила няня.

— А ты залезь на пожарную каланчу и посмотри. Прошу не мешать спать детям! — отрезал Слава.

Няня Дуся подняла кочергу:

— Выкладывай лампочки.

— Попробуй вдарь только!

Няня Дуся ухватила рукой Славино одеяло.

Слава поднялся и не спеша извлёк лампочки.

Няня Дуся завернула их в фартук, собралась уходить, но вдруг передумала и сказала:

— Знаю я, чем ты дышишь. Так только жулики и проходимцы поступают.

— Хватит, хватит панихиду читать! — попытался прервать её Слава.

Но няню Дусю уже трудно было остановить.

— Кочергой этой подучить бы тебя уму-разуму. А заявление в детсовет я напишу, хоть и царапаю пером, как курица лапой, — сказала няня Дуся. — Надо жить честь по чести!

И с этими словами она вышла из спальни.

Глава двадцать восьмая

МАНЕКЕН

Учились у нас в школе две сестры: одна — со мной, другая — на класс старше, но переменки они всегда проводили вместе. Обе высокие, ху-

дые и носили очки в позолоченной оправе. Их называли цаплями.

Жили «цапли» в собственном домике, окружённом палисадником. Зимой в их доме не замерзали окна, так как между ставнями стояли гранёные стаканы, в которых была налита жидкость желтоватого цвета.

Мать этих девочек часто приходила в школу: то завтрак дочкам принесёт, то калоши.

Многие в городе называли её с особым почтением — Евгенией Петровной. Она была портнихой.

«Мадам портниха», как узнал Слава, была недовольна, что детдомовцы стали ходить в ту же школу, где учились её дочери. Она хлопотала, чтобы для нас устроили специальные классы, даже подписи родителей хотела собрать, но ничего у неё не вышло; пристыдили её за это, вот она и злится.

Однажды нашего учителя Захара Трофимовича срочно вызвали в Москву — получать протез правой руки. Его заменяли другие учителя, и Галина Ивановна тоже приходила заниматься с нами.

Прозвенел звонок, а мы одни в классе. Было шумно. Вдруг приоткрылась дверь, и мы увидели Евгению Петровну. Пока она раздумывала, входить ей или не входить, мы дружно встали.

Она вошла, окинув нас презрительным взглядом, и сказала:

— Садитесь.

В это время прямо к ней навстречу выехал верхом на палке Ваня Петров.

Недаром Светлана Викторовна называла его невозможным. Действительно, невозможно было не рассмеяться, когда Ваня начинал смеяться. Его выставляли за дверь, а он и там смеялся.

Часто Ваня смеялся без всякой причины, просто потому, что он хорошо выспался, сытно поел или увидел нахохлившегося воробышка на телеграфном проводе.

Он так и ждал, что в ответ Евгения Петровна, так же как и другие взрослые, улыбнётся и дружный смех всего класса вознаградит его за выдумку. Но портниха не собиралась смеяться. Она никак не могла подыскать подходящего слова, чтобы выразить своё негодование.

Никогда ещё Ваня не терпел такого поражения. Он растерянно смотрел на Евгению Петровну.

— Вот как вы себя ведёте! — процедила она и зло посмотрела на Ваню.

Как раз в эту минуту в класс вошла Галина Ивановна.

Евгения Петровна, не дав ей опомниться, сказала:

— Вот полюбуйтесь, как ведут себя ваши дикари! Я проходила мимо, хотела навести порядок, а этот чуть не сбил меня с ног.

— Этот? — удивилась Галина Ивановна. — Какой же он дикарь? Правда, он у нас только недавно стал свободно рукой владеть.

— Конечно, вы их защищаете. Станные порядки у вас! Как вы за ними смотрите? Таким место не в школе, а в исправительной колонии. Недаром они всё тащут!

— Это вы уж слишком! — возмутилась Галина Ивановна.

— Про лампочки весь город знает! — подчёркнуто сказала Евгения Петровна, подошла к парте, где сидела её дочь Серафима, и потянула её за собой.

Галина Ивановна задумалась, а потом посмотрела Славе прямо в глаза.

...На следующий день, перед началом урока, Серафима громко спросила:

— А правда, что ваша воспитательница в плену была?

— Была в неволе,— ответил Серёжа и насторожился.

— Сразу видно, какая фрейлейн! — фыркнула Серафима.

Мне показалось это очень обидным.

А Серафима продолжала:

— А может быть, и ваши отцы тоже в плен сдались?

Сергей стоял как вкопанный.

— Почему ты думаешь, что мой отец к немцам ушёл? — спросил он, тяжело дыша.

— Я не знаю, спроси мою маму.

Серёжа отошёл. А Серафима бросила ему вдогонку:

— Подумаешь, сын без отца!

Во время тихого часа Сергей лежал с широко открытыми глазами и о чём-то думал. А вечером, после ужина, он приказал:

— Пойдём со мной!

Мы быстро оделись и побежали. Темнело. В этот час ещё не всем улицам электростанция давала ток. То там, то здесь появлялись огоньки.

Вот и домик с палисадником. За домом, на небольшом участке земли,— яблони. Через окно видна была зажжённая висячая керосиновая лампа.

Серёжа хотел постучать. Но как-то само собой получилось, только схватился за ручку, как дверь сама отворилась... И мы оказались в большой комнате. Натоплено крепко. Половики разостланы по крашеному полу. На стенах картины в рамах висят. Вот бы посмотреть!

В комнате кто-то крикнул. Мы оторопели от неожиданности.

Высокая морщинистая старуха поднялась нам навстречу.

В это время полуоткрылась другая дверь, и мы увидели испуганное, вытянутое лицо Евгении Петровны.

— Это детдомовцы! Фу-ты, а я так испугалась! Гони их, мама, и проверь кладовую! — раздался её пронзительный голос.

— Детдомовцы! — брезгливо повторила старуха. — В дом лезете, мало даровых яблок натрясли, покоя нет от вас...

И тогда тихо, но внятно Серёжа спросил, смотря прямо старухе в глаза:

— Серафима сказала, что её мама знает про моего отца. Откуда она знает, что он в плену?

— Вон! Вон отсюда! — зашипела бабка. — Чтобы ноги вашей не было в нашем доме!

Она толкнула нас к двери так, что мы чуть лбами не стукнулись. И оказались за дверью. До нас доносились какие-то крики, кто-то задвигал стульями, зашаркал шлёпанцами, залаяла собачонка.

Зачем только мы пришли сюда!

Мы молча побрели домой. Было очень обидно. Врёт старуха, никогда мы не лезли к ним в сад.

Через полчаса после нашего возвращения Галина Ивановна обнаружила — Серёжа исчез. За ужином его место было пусто. И оставленная каша давно остыла.

Какой переполох поднялся в доме! Даже фонари «летучая мышь» приготовили, чтобы искать Сергея.

Обнаружил пропавшего Слава. По пристав-

ной лестнице он залез на чердак нашей новой бани.

Галя тоже поднялась на чердак и помогла Сергею спуститься. Она говорила ему:

— Серёжа, какой ты чумазый, пойдй умойся!

А Серёжа твердил, что не хочет больше ходить в школу.

— Почему?

— Откуда эта пиявка, свинья рогатая, знает, что мой папа в плену?

Галина Ивановна, несмотря на поздний час, собрала нас и объяснила, что на белом свете, кроме хороших, отзывчивых людей, есть и равнодушные, чёрствые. Они, эти люди, как манекены.

— Манекены? — переспросил Андрюша Давыдов.

А я вспомнил, что такого болвана, с выпяченной грудью, мы видели в комнате портнихи.

Только Галя вышла из спальни, как Слава, молчавший до сих пор, сказал:

— Эх вы, шпингалеты! Не лазить по чердакам надо, а отомстить портнихе. Проучить её надо!

Я не сомневался, что именно он, Слава, придумает наказание для Евгении Петровны.

Не только Серёже, но и всем нам хотелось как можно скорей ринуться в «бой».

— Завтра ночью покажем ей, почём сотня гребешков! — пообещал Слава.

Настал долгожданный час. Городок уже спал. Было морозно и тихо. Мы шли молча.

Впереди шёл Серёжа, шествие замыкал Слава.

Наши карманы были набиты камнями. Мне казалось, что это не камни, а боевые гранаты.

Со всех сторон мы обступили дом на Поперечной улице.

Слава заложил три пальца в рот, свистнул и первый метнул камень.

Сигнальная ракета не взвилась в небо, но разом засвистели десятки камней.

Звякнули стёкла.

Я размахнулся. Снова свист, и, как по команде «пли», опять в ненавистные чёрные окна полетели наши камни.

Кто-то в белом выбежал на крыльцо и сейчас же скрылся.

Обстрел продолжался несколько минут.

Мы слышали, как гремит железо, как падают с подоконников глиняные горшки, как мать Евгении Петровны истощным голосом зовёт на помощь соседей.

Вдруг мы увидели, что Андрей Давыдов быстро подскочил к окну и исчез в темноте. Мелькнул слабый свет электрического фонарика. Прошло несколько секунд — и раздался треск: из окна выпрыгнул Андрей, будто соскочил с ходулей; он тащил что-то белое, похожее на человеческую фигуру.

Рядом с ним оказался Ваня Петров. Что-то большое упало в снег.

— Вот он, манекен!

Весь боевой запас был уже израсходован, и мы по заранее намеченному плану, окружным путём, уходили с поля боя, захватив с собой настоящий трофей.

Подул ветер, манекен жалобно заскрипел.

Мы шагали через заснеженное поле.

Вот и наша крепость — дом Степана Разина. Над входом висела гигантская сосулька.

Андрюша и Ваня внесли манекен.

По команде Андрея мы положили его на пол и начали закидывать снегом.

— Так не замёрзнет,— пояснил Андрей.

Поодиночке, затаив дыхание мы пробрались в спальню. Трудно было заснуть.

О ночном нападении говорил весь город. Подсчитывались убытки. Никто не сомневался, что это «работа» детдомовцев.

Мы пошли взглянуть на взятый в плен манекен.

Андрею пришла в голову мысль — превратить манекен в снеговика.

Мы подняли его с пола, поставили на ноги и, укрепив, чтобы не шатался, облепили его снегом. Приделали снежную голову, нахлобучив на неё выброшенную кем-то соломенную шляпу.

Мы были очень довольны своей работой.

Манекен стоял теперь, как на посту, у нашей крепости, похожий не то на деда-мороза, не то на дворника.

Ваня Петров назвал вылепленное нами произведение памятником Степану Разину.

В тот же вечер, когда мы уже укладывались спать, в комнату незаметно вошла Капитолина Ивановна.

Она приходила обычно после вечерней линейки, читала Гайдара, причём обрывала чтение на самом интересном месте, и мы с нетерпением ждали продолжения...

На этот раз Капитолина Ивановна оперлась рукой о тумбочку и ждала, чтобы мы улеглись. Она показалась мне очень усталой.

— Ребята, неладно получается. Я пришла поговорить с вами о Вячеславе.

Мы посмотрели на Славу. Он сосредоточенно разглядывал потолок, будто приход директора не имел к нему никакого отношения.

— Знаешь, Вячеслав, нам нечего таиться. Давай поговорим при всех. Смотри, сколько в тебе плохого! Я вот всё думаю о твоих словах... О том, что считаешь себя «конченным». Можно подумать, что ты даже гордишься этим! А знаешь ли, Слава, мой долг сказать тебе всю правду... Матери твоей было бы очень больно.

— Ничего не больно. Она не такая умная, как вы! — вдруг выпалил Слава.

— Ошибаешься,— сдержанно ответила Капитолина Ивановна и обратилась ко всем нам: — Мать Славы жива. После того как от голода на её руках умер Славин брат, она потеряла рассудок. Но сейчас ей лучше, и она уже давно разыскивает Славу.

— Я не хочу её видеть! Если она придёт сюда, мне будет стыдно. Раньше моя мама тоже была умная, а теперь она поёт песенки и дерётся. Я не могу слышать этих песен! Я всё равно убегу от неё!

Мне казалось, что Слава задохнётся от своих же слов. «Как же так? — подумал я.— Мать жива, а он не хочет её видеть?»

Капитолина Ивановна подошла к Славинной кровати:

— От кого ты хочешь бежать? А кто позаботится о ней? Кроме того, твои товарищи должны знать, что ты их обманул. Покупал каймак и конфеты на деньги, добытые таким скверным, позорным путём.

Андрей вскочил с кровати.

Серёжа насупил брови.

Как мы мечтали, что в газетах появятся наши объявления!

Капитолина Ивановна продолжала:

— Вы думаете, что отомстили портнике.

А она заявила, будто это Галина Ивановна натравила на неё ребят.

Капитолина Ивановна замолчала, а потом, не глядя ни на кого, сказала:

— Я отвечаю за всех вас.

Я хорошо запомнил всё это. Капитолина Ивановна говорила, что никогда ей не надоест возиться с нами, и, если Слава спрашивает, кому он нужен, он должен знать: нужен нам всем.

И тут же Капитолина Ивановна сказала, что она с удовольствием нашлёпала бы Ваню Петрова за то, что он разъезжал на палке во время урока, и мама его поступила бы так же.

— Ведь верно? Но как я тебя нашлёпаю, когда ты выше меня ростом? — с сожалением добавила Капитолина Ивановна...

Потом, пожелав всем доброй ночи, она накинула на плечи пуховую шаль, ещё раз внимательно взглянула на Славу и тихо вышла из спальни.

Глава двадцать девятая

СЕРЁЖА ВСПОМНИЛ ВСЁ...

Чем дальше время отодвигало нас от войны, тем больше страдал Сергей от того, что всё забыл.

Как и раньше, он верил, что ему может помочь объявление в газете. Он хотел описать все свои приметы, подходил к зеркалу и, чуть наморщив лоб, с удивлением смотрел на себя. Он спрашивал меня о цвете своих глаз и сердился, когда я говорил, что они карие.

— Карие только у девчонок бывают!

Как-то он снял рубашку и показал мне свою спину. Я тщательно обследовал её, но ни одной родинки не обнаружил.

Сергей огорчился.

Он плохо спал, мало ел, был вялым, удручённым или куда-то спешил. По ночам бормотал что-то невнятное.

Несколько раз ночью к нам в спальню приходила Светлана Викторовна и садилась у Серёжиной койки.

И Галя, и Светлана Викторовна, и Капитолина Ивановна думали, как бы помочь Сергею.

Галя не сводила с него глаз, когда он вдруг менялся в лице и хватался за лоб рукой. Что-то мелькало в его глазах, но тут же ускользало.

В нашем городке, на Астраханской улице, открылась фотография. Редко кто из прохожих проходил мимо, не взглянув на выставленные в окне портреты.

Андрей попросил Капитолину Ивановну взять со сберкнижки деньги, которые он получил после гибели отца.

— Зачем тебе?

— Серёжу сфотографировать...

— Без твоих денег обойдёмся,— ответила Капитолина Ивановна.

Всей гурьбой отправились мы на Астраханскую улицу.

Галина Ивановна и Захар Трофимович объяснили фотографу цель нашего прихода.

Серёжа очень волновался.

Галина Ивановна, перед тем как причесать Серёжу, смочила его вихры водой. Захар Трофимович запротестовал и взъерошил Серёжины волосы.

Фотограф усадил Серёжу перед большим фотоаппаратом.

Серёжа впился глазами в одну точку. Он сжал губы. Глаза его блестели. Он весь был устремлён куда-то вдаль...

В комнате вспыхнул ослепительно яркий свет.

Серёжа так растерялся, что не сразу поднялся со стула.

Через неделю большой портрет Серёжи, наклеенный на толстый картон, красовался в самом центре витрины.

Капитолина Ивановна обещала вывесить ещё две его фотографии в других городах.

Как-то Сергей первым проснулся и толкнул меня в бок:

— Может быть, сейчас кто-нибудь на меня смотрит. А вдруг узнает?

...Ранняя весна пришла к берегам Невелички. Солнце с каждым днём светило всё ярче, сгоняя к реке бурные, мутные потоки. Снеговик растаял. Андрей замаскировал его соломой и прошлогодней травой.

...В один из первых майских дней к нам в корпус вошёл широкоплечий немолодой человек в форме лётчика.

За ним — Капитолина Ивановна и Светлана Викторовна.

Лётчик посмотрел на нас всех, а потом остановил взгляд на Серёже. Тот сразу насто-рожился.

Капитолина Ивановна сказала:

— Серёжа, это твой папа!

— Папа! — пронзительно вскрикнул Серёжа и бросился к лётчику. Он гладил его по волосам, по лицу; прижимался то к щеке, то к груди, на которой было много орденов. Он словно не доверял сам себе. А потом откинулся и пристально посмотрел лётчику прямо в глаза.



Снова его страшный крик заставил всех вздрогнуть.

Серёжа подбежал к своей койке и ещё раз посмотрел на лётчика, покачал головой и прошептал:

— Нет, это не он. Мой папа был совсем другим.

И тогда раздался взволнованный голос Капитолины Ивановны:

— Каким же был твой папа?

— У моего папы на фуражке был краб. Мой папа строил корабли. Мы жили в Ленинграде. Мама отвезла меня в Сталинград.

Серёжа говорил очень быстро, не в силах справиться со всем, что нахлынуло на него. Мне даже показалось, что он бредит. Он откинул назад голову и говорил, говорил без конца, крепко ухватившись руками за спинку кровати.

Все мы ловили каждое его слово. Мы уже забыли о лётчике, как вдруг увидели, что он прикрыл лицо руками.

Капитолина Ивановна дала знак, чтобы все вышли из спальни.

Всё это было очень непонятно и даже досадно: о каком вдруг отце вспомнил Серёжа, когда отец разыскал его и сидит с ним рядом!

Но я ведь ещё не знал тогда, что этот человек в первые дни войны потерял свою семью и с тех пор жил надеждой напасть на след своего единственного сына. А когда надежда исчезла, решил усыновить мальчика. Капитолина Ивановна и рассказала ему, что в нашем детдоме живёт мальчик, который забыл всё, что с ним было раньше, и именно его лётчик решил усыновить. И тут случилось то, что трудно было предуга-

дать: радость потрясла Серёжу, и он вспомнил всё...

Серёжа часто кричал по ночам.

— Всё зовёт кого-то,— поясняла няня Дуся.

Глава тридцатая

МЫ ЕДЕМ В СТАЛИНГРАД!

Мы едем, едем, едем! Мы едем в Сталинград!

Няня Дуся машет нам рукой. Она сказала: «Отдохну без вас, галчат, кофту к зиме свяжу».

Машина набирает скорость.

Не успели мы опомниться, как оказались на станции.

Оля испугалась, когда зафырчал и зашипел паровоз, а я бы вскочил на него верхом и понёсся вскачь.

Мы заполнили весь вагон. Счастливики заняли места у окон. Слава и Серёжа забрались на третью полку. Все мы не отрываясь смотрели в окна: мелькали телеграфные столбы, сторожевые будки и флажки стрелочников.

Скорей бы увидеть Сталинград! Вот уже по обе стороны полотна железной дороги — искорёженные танки, выкрашенные в жабий цвет, остовы разбитых вражеских машин и пятнистые орудийные лафеты, мотки колючей проволоки и окопы, заросшие сорняком...

Кто-то пытался затянуть песню, но она не ладилась, так как мешала думать и смотреть.

Скорей бы Сталинград!

...Вот и пошли, как у нас говорят, сталинградские «кочегуры», балки и холмики. К ним прилепились одноэтажные домишки, сделанные

и из свежеструганных досок и из обгоревших брёвен.

Медленней, медленней идёт поезд. Наконец колёса замолчали совсем.

Я прыгаю с подножки. Даже не верится, что стою на сталинградской земле. А вот и такой знакомый перекидной мост над путями!

Сталинградские пионеры протягивают нам букеты цветов. Вся привокзальная площадь заполнена народом. Это сталинградцы пришли встречать детдомовцев. Нас ждали автобусы, украшенные зелёными ветками.

Шофёр открыл дверцу. Мне показалось, что я его где-то видел раньше...

Оля поглаживала блестящие никелированные защёлки автобуса, а я смотрел в окно. Так хотелось всюду побывать, взобраться на Мамаев курган, побежать на набережную к Хользунову, заглядывать в окна, дворы. Если бы можно было попридержать автобус, чтобы он останавливался на каждом углу, у вывесок, плакатов, витрин.

Повсюду виднелись ещё груды битого кирпича и железные прутья перекрытий, но расчищенные и подметённые тротуары придавали улицам опрятный вид.

Эх, если бы записать все наши тогдашние возгласы, все слова! Ведь по этим улицам мы учились ходить.

— Вот, вот, посмотрите, я жил здесь до войны!

— На этом стадионе мой папа в футбол играл!

— А тут был магазин, в нём мама работала продавщицей.

— А вот по этой улице дедушка любил гулять!

— А я с бабушкой на этой остановке слезал, когда в детский сад ездил!

И мы вспоминали каждый своё: кто — круглый стол под яблоней, кто — качели, кто — киоск, где продавали квас...

Серёжа дёрнул меня за рукав: да, он прав, именно здесь стояли солдатские кухни и отсюда дяденька потащил нас в детский приёмник.

Автобус остановился в центре города, у здания восстановленной школы.

Не успели отдохнуть — в баню, из бани — в столовую. Где бы ни появлялись, нас обступали незнакомые люди, начинали расспрашивать, приглашали к себе в гости; спрашивали, нет ли в нашем детском доме тех, о ком им очень хотелось хоть что-нибудь узнать.

И мы тоже спрашивали о своих знакомых, соседях, но только немногие счастливики попадали на след...

Тогда сталинградцами стали тысячи людей, приехавших из всех советских республик восстанавливать наш город.

Жар шёл от развалин, разогретых солнцем. Когда налетал ветер, молодые деревья шумели своей скромной листвой...

Я с удовольствием слушал перезвон трамваев. У трамвайных рельсов вспыхивали огни электросварки.

Галя позволила мне вместе с Серёжей сходить к памятнику Хользунову. Мне очень хотелось пройти пешком там, где промчал нас автобус, а потом повернуть обратно и выйти к Волге.

Вначале мы даже взяли за руки. Но на Серёжу вдруг нашло: идёт со мной по сталинградской улице и без умолку говорит о своём Ленинграде. В другое время я слушал бы его не

отрываясь и про Васильевский остров, и про раздвижные мосты, но сейчас ведь мы шли по Сталинграду.

— Замолчи! — Я сжал ему руку.

И сразу вспомнил о Шуре, о её шершавой руке. Вот с кем бы я сейчас всё облазил, всюду побывал, всё вспомнил.

Уже сколько часов в Сталинграде, а до сих пор не встретил ни одного знакомого человека.

Только подумал об этом — и вдруг увидел знакомое лицо в окне дощатого павильона, пристроенного к длинному забору. Это была фотография Серёжи.

Капитолина Ивановна выполнила своё обещание. Этот портрет был не в раме, но зато под ним была надпись с адресом нашего детства.

Сергей даже отпрянул. Он сказал, что надо снять фотографию. А я подумал про Сергея: «Вот ходишь со мной по Сталинграду, а тебя, возможно, уже ждут на Васильевском острове».

Мы повернули обратно, так и не дойдя до вокзала.

Я внимательно смотрел по сторонам. Кругом руины, а над землянкой, как на большом доме, висел номер: «Улица Ленина, дом № 1».

Хозяин землянки стоял рядом со своим «особняком» и вёл разговор с обступившими его прохожими. Он рассказал, что на этом углу стояло большое здание, в котором он жил, поэтому и землянку свою соорудил «по месту жительства».

— Здесь жил и здесь жить буду! Заходите, товарищи, в гости!

Мы вышли к набережной.

Всё так же спокойно текла Волга.

Белый речной трамвайчик всё так же крутил колёсами, направляясь на тот берег.

Чёрные дымки барж и пароходов вились над речным простором.

Как и прежде, на гранитном постаменте стоял наш лётчик, комдив Хользунов.

В сумерки сильнее запахло цветы в скверах и множество мошек закружилось в воздухе, залетая то в рот, то в уши; я отмахивался от них.

А вскоре засветились окна. Тогда ещё занавески и шторы были в редкость.

Я на ходу смотрел в окна, а они провожали меня, сливаясь в одну линию.

В каждом окне своя жизнь. Очень нравились мне абажуры. Они напоминали раскрытые зонтики. Но не дождевые капли стекали с оранжевых красавцев. С них лился такой спокойный, тёплый и лучистый свет.

В одном окне я увидел высокую, стройную женщину, с гладко зачёсанными волосами. Мне даже показалось, что слышу её голос. Будто она говорит дочке:

— Не стучи ложкой по тарелке, это тебе не барабан!

Мягкая улыбка прячется в уголках её губ. Как у моей мамы.

Я шёл и думал: как хорошо, когда у тебя есть родители.

Мы очень устали за этот день, но всё не могли наглядеться на свой город. Темнота скрыла руины, и он заблестел множеством огней, будто целый и невредимый, такой, каким был до войны. Там «Красный Октябрь», там, близко от дома, а дома нет.

...Пока мы спали, сталинградки электрическими утюгами гладили наши костюмы, платья

девочек, пионерские галстуки... Каждому под кровать были поставлены новенькие тапочки.

На следующий день под барабанную дробь, со знамёнами и флагами мы вступили на площадь Павших Борцов. Заиграл сводный оркестр детских домов Сталинградской области.

На другой стороне площади выстроились пионеры города.

Ровными рядами окружили мы и могилы защитников красного Царицына и братскую могилу погибших за Сталинград в Отечественной войне.

Я шёл в колонне тех, кто нёс венки из живых цветов.

Все смотрели на нас.

Мы положили венки на могилы, и все как один опустили на колени.

Воцарилась необычная тишина. Замерла огромная площадь.

Может быть, здесь, в братской могиле, лежит и мой отец.

Над площадью полилась траурная музыка.

Мы поднялись и услышали громкий голос:

— Мы хотим, чтобы дети всего мира никогда не знали, что такое война!

На следующий день началась олимпиада. Мы пели и плясали, а те, кто сидел в зрительном зале, вспоминали, как нас откапывали и находили в ямах...

...Нас катали на речном трамвайчике, на каруселях. Показали работу пожарного парохода «Гаситель». Ярko блестели на солнце начищенные медные трубы. Вдруг изо всех труб брызнула вода, и небольшой пароход сразу стал похож на огромный фонтан.

А рабочие «Красного Октября» пригласили нас на завод.

К школе подъехал большой автобус. Человек, сидевший рядом с шофёром, вышел из кабинки и громко поздоровался с нами.

Каково же было моё удивление, когда он вдруг спросил:

— Кто из вас Геннадий Иванович Соколов?

По всему выходило, что он спрашивал обо мне.

Я отозвался, а он протянул мне руку и пробасил:

— Да, брат, тебя не узнать. На целую голову выше стал.

И я не сразу узнал его. И не мудрено: тогда, в полушубке и ушанке, он показался мне очень внушительным. А теперь на нём был лёгкий парусиновый пиджак, а на бритой голове блестя пёстрая тубетейка.

— Инженер Панков! — напомнил он.

Признаться, фамилию его я уже забыл. Но то, что этот человек знал моего отца и угостил меня когда-то салом и шоколадом, тут же вспомнил...

— Директор завода лично поручил мне разыскать вас, Геннадий Иванович, — сказал Панков.

...Чем ближе к заводу, тем многолюдней на трамвайных остановках. Банный овраг, мост и давнишняя знакомая — Тёщина остановка!

Параллельно Волге, шоссе и трамвайным путям бежала и железная дорога. Привычно прогудел и загромыхал пригородный поезд.

А вот и кирпичные трубы выстроились, как великаны!

По воде, по рельсам, по шоссе, обгоняя друг друга, неслись машины, проходили баржи и поезда.

Автобус свернул в сторону и остановился.

Мы прошли мимо здания заводоуправления. Повсюду с огромных щитов на нас смотрели надписи и плакаты: они призывали мартеновцев дать стране высококачественную сталь.

На одной стене мы с трепетом прочитали выведенные неровной рукой священные слова: «Здесь стояли насмерть тарашанцы».

Почерневшая, закопчённая каменная коробка разрушенного здания... Инженер Панков объяснил, что здесь была центральная заводская лаборатория, а теперь окрашенные специальным составом развалины в память боёв будут сохранены на века — для истории.

Мимо нас пропыхтел паровозик. Он вёз по узкой колее огромные ковши, заполненные расплавленным металлом.

Мне не верилось, что наконец я попал на завод. Ведь я так часто приставал к отцу, спрашивая его, «в какой трубе он работает», и всё просил принести «какую-нибудь железку».

Отец всё собирался повести меня на завод, но так и не пришлось ему выполнить своё обещание.

Меня не покидало ощущение, что отец где-то здесь, рядом, а я пришёл к нему в гости.

Инженер Панков показал нам огромные электромагнитные краны, они притягивали к себе железный лом. В грудах искалеченного, заржавленного металла можно было увидеть гусеницы танков. А вот и немецкая каска, вся в дырках.

Мы на мартене. Нам разрешили посмотреть в печь сквозь синие стёкла. Там бушевал свирепый, неистовый огонь. Огромная печь гудела и вздрагивала. Я бы смотрел и смотрел, но надо было уступить место другому. А дядька сталевар даже пошутил:

— Ну, как вам нравится, как суп наш варится?

А себя он назвал поваром и, ткнув пальцем в свою войлочную шапку, добавил:

— Только та разница, что колпак не белый!

Как не хотелось уходить отсюда! А тут ещё Панков сказал пожилому сталевару, показав на меня и Олю:

— Познакомься, Игнат Кузьмич, Ивана Соколова дети.

Усатый сталевар помахал нам рукавицей. Оказывается, это был мастер, и он работал когда-то сталеваром вместе с моим отцом на одной печи.

Мы побывали и на блюминге и в других цехах.

Раскалённые слитки с лёгкостью переворачивались и, вытягиваясь огненно-красными, сияющими лентами, ложились на чугунный пол.

С великолепной ловкостью один человек подхватывал клещами раскалённую стальную нить и направлял её дальше, чтобы она стала более тонкой.

После экскурсии инженер Панков всех нас пригласил к директору.

Мы вошли в здание заводоуправления, поднялись по широкой лестнице и оказались в огромной комнате.

Нам навстречу встал невысокий человек. Это и был директор.

Мы сели к столу, заставленному тарелками с конфетами и фруктами.

Чтобы мы не смущались, директор сам протянул руку за конфетой и, медленно развёртывая бумажку, приказал всем последовать его примеру.

В кабинет один за другим входили рабочие.

Я очень обрадовался, когда вновь увидел Игната Кузьмича. Он был в рабочей одежде, но уже без рукавиц. Собрались и женщины — жены рабочих, лаборантки, служащие заводоуправления.

Игнат Кузьмич подвёл меня и Олю к полной женщине, подтолкнул нас друг к другу.

— Разве можно так с детьми обращаться? — Женщина ласково улыбнулась нам.

Игнат Кузьмич, не выпуская наших рук, сказал:

— Знакомься, Матрёна Афанасьевна, Ивана Соколова потомство.

А нам пояснил:

— Моя хозяйка!

А потом директор сказал, что все воспитанники детских домов очень дороги рабочим завода, что краснооктябрыцы благодарят нас за посещение и дарят свои скромные подарки.

Мы стали обладателями трикотажных спортивных маек, бутсов, готовален, шахмат, шашек, настольных игр, коробок с разноцветными нитками для вышивания и интересных книг.

А одну очень красивую куклу женщины подарили Оле.

Директор поднял руку. Снова стало тихо. Он подошёл к небольшому коричневому шкафу, и я услышал, как щёлкнул замок.

— Гена Соколов!

Инженер Панков, оказавшийся рядом, подтолкнул меня.

— Прошу тебя, Гена, подойди сюда,— сказал директор.

И вот я стою рядом с ним.

— Дорогие товарищи! — раздался над мной внятный голос. — Я хочу передать сыну нашего славного сталевара Соколова, который погиб геройской смертью, защищая родной завод, часы его отца.

Я почувствовал слабость и холодок во всём теле. А потом меня будто снова подбросило взрывной волной, посыпалась штукатурка, дым и пыль заволокли глаза...

В кабинете стало очень тихо.

Всё разом пронеслось передо мной — мамино лицо, склонённые знамёна перед братскими могилами.

Я сжал кулаки: «Держись, Гена, держись!»

Директор достал часы из несгораемого шкафа.

Я боялся взглянуть на них. Наверняка ошибка...

Директор держал небольшую коробку. Я никогда не видел этой коробки. Но директор открыл крышку, и я увидел часы. Да, это были те самые часы, которые я отдал врачихе.

— Эти часы передал на завод душа-человек; из дарственной надписи он узнал, что часы были вручены сталевару «Красного Октября» товарищем Серго Орджоникидзе. Часовых дел мастер их вычистил, смазал и выверил ход. Надёжные часы! — продолжал директор.

Меня охватила волна бесконечной благодарности к тому, кто нашёл часы, прочитал дарственную надпись на крышке и вернул их на «Красный Октябрь»! И даже имени своего не назвал! Может, был он бойцом трофейной команды, собирал документы, оружие и вдруг...

Или просто был нашим земляком, участником обороны.



Я так оторопел, что ничего не мог вымолвить. Комок подступил к горлу. А через секунду еле слышно сказал:

— Спасибо!

А затем чуть громче повторил:

— Спасибо! Спасибо!

Я взглянул на Олю. Она сидела среди подружек, обняв новую куклу.

И вот уже коробочка в моей левой руке, а правую крепко жмёт директор. Он целует меня:

— Будь таким, каким был твой батька!

Батька! Никто ещё никогда так не называл моего отца.

Я отошёл и прислушался к ходу часов. Тикают!

Серёжа не утерпел и несколько раз приложил часы то к одному уху, то к другому, а потом произнёс многозначительно:

— Да!

Прощаясь с нами, директор сказал:

— Вот подрастёте, кто из вас захочет стать металлургом, милости просим.

Игнат Кузьмич на этот раз очень осторожно взял Олю за руку и подвёл к Матрёне Афанасьевне.

— Вы, Соколовы, теперь мои гости. Разрешение получено, и даже с ночёвкой. Доставим целыми и невредимыми. Олю сейчас заберёт с собой Матрёна Афанасьевна, а ты со мной! — сказал Игнат Кузьмич.

Я сунул коробку с часами в карман и зашагал рядом с Игнатом Кузьмичом — на мартен.

Игнат Кузьмич рассказал, что в дни битвы за Сталинград передовая проходила по мартеновскому цеху, там, где мы сейчас находимся, между старыми и новыми печами.

— Морозы начались, а от печей ещё жар шёл. Бывало и так: внизу под печами немцы, как в пещерах, сидят, а наверху — наши бойцы.

И ещё рассказал Игнат Кузьмич, как вернулись сюда старые рабочие восстанавливать мартен. Тогда в цеху, как в лесу, куковали кукушки.

Он объяснил, что сейчас идёт скоростная плавка.

Меня обдаёт жаром, на лбу выступают капельки пота. А подойдёшь ближе — обжигает с непривычки. Даже глазам жарко. Как бы брови не опалить!

Один из сталеваров, подручный, заглянул в печь, потом повернул какой-то рычаг, и приподнялась тяжёлая заслонка.

Ловким движением сталевар засунул в нутро печи длинный черпак с маленькой ложечкой на конце. Вот он вытащил его обратно. Снова закрылась заслонка, и из ложечки вьюном на чугунную плиту полились золотистые искры.

Сталевар вылил расплавленный металл из ложечки на плиту, и тут же девушка собрала взятую пробу и побежала в лабораторию.

Игнат Кузьмич сказал мне, что скоро будут выпускать плавку.

Сталевар медленно разделал выходное отверстие — водопадом ринулась сталь.

Я стоял на высокой площадке и смотрел, как сверкающая золотая струя текла вниз, продолжая бурлить и искриться в огромном ковше.

Люди отходили в сторону, вытирали пот с лица рукавицами и жадно пили воду.

Я подумал: вот так же работал здесь и мой отец.

Если раньше я чаще всего вспоминал отца таким, каким видел в последний раз, когда он, надев на голову каску, медленно затянул ремешок под подбородком, то теперь он стоял перед моими глазами в брезентовой спецовке, в синих очках, поднятых на широкополую шляпу, и в валенках...

Отец всегда на рынке искал старые валенки...

Кто-то крикнул совсем рядом:

— Хромистой руды! Ломики!

Подручные забегали, уступая дорогу к печи невысокому жилистому человеку.

— Федя, не промахнись!

— Не промахнусь!

И Федя, размахнувшись, кинул в печь тяжёлый кусок руды — туда, где особенно яростно бурлила сталь.

Вслед за ним и другие подручные стали также кидать в печь тяжёлые куски руды...

Кто-то закричал:

— Дери козла!

Из печи тоненькой струйкой полилась сталь, рассыпая по площадке тысячи искр.

Федя снова бросил в печь руду, преградив дорогу огненной струйке.

Игнат Кузьмич громко скомандовал:

— Подать ковш!

А Федю будто кто водой окатил: он вытирал рукавицей пот со лба и со щёк.

— Молодец, парень! Если бы проморгал, потеряли бы полплавки, — сказал ему Игнат Кузьмич.

Я ни о чём не стал расспрашивать, хотя мне очень хотелось узнать, что такое «козёл».

Я представил себе козла с пламенем вместо бороды. Вот он вылезает из печи и начинает бодаться.

Потом я, конечно, узнал, что значит «дери козла». Надо хорошенько заделывать «порог» после выпуска стали — не оставлять в печи «козелка», который будет выход искать и «закозлит» плавку. Много бед может натворить такой «козелок». Уйдёт сталь, и печи на ремонт станут. И не подсчитать убытков.

И ещё узнал: если бы Федя и другие подручные не задрали «козла», в «драку» с ним вступила бы заволочная машина; она зажала бы его своим хоботом. Машинист только ждал команды. Но мне не пришлось видеть бой «слона» с «козлом».

Игнат Кузьмич не отпускал меня от себя ни на шаг. Загудел гудок. Кончилась смена, и мы пошли с ним в «бытовые», где Игнат Кузьмич вымылся, переоделся и меня заставил принять душ, посоветовав не вытираться. И действительно, не успел я одеться, как уже стал сухим.

Вместе со сменой уходил я с завода.

Как хорошо шагать, когда с тобой рядом идут в одном направлении сотни людей!

По дороге мы зашли в небольшую парикмахерскую. Игнат Кузьмич решил побриться, как он сказал, «ради гостя», и подправить усы.

— Усы-то у меня от старинки остались, а нос как у самого молодого. Раньше сталевары с красными от ожогов носами ходили, всё в печь нос совали, контрольно-измерительных приборов не было, на глазок работали и тремя крестами расписывались. А теперь и мне приходится физику и химию изучать. Нос-то не красный, но надо не зевать, чтобы молодые нам, старикам, нос не утёрли,— говорил Игнат Кузьмич, пока парикмахер намыливал ему щёки.

...Ещё издали Игнат Кузьмич показал мне белый дом под чёрным толем.

— Вот видишь, какое себе гнездо свили. Сами всё сделали, даже плотников не нанимали. Откуда и пруть взялась!

Мы шли по дорожке, посыпанной песком. В ушах всё ещё стоял непривычный гул, но уже хорошо дышалось. Свежий воздух будто сам врвался в грудь.

— Дай перед тобой похвастаюсь. Всё это я своими руками посадил. Правда, тесновато. Вишня, абрикос, слива, яблоня родить будут. Вначале соседи смеялись, а теперь тоже просят: то отросточек дай им, то черенок. Этой весной даже соловьи на моих деревьях распевали.

Матрёна Афанасьевна ждала нас.

У себя дома, за столом, в цветистом халате, она показалась мне ещё полней. Оля уже вполне здесь освоилась. Она зажала между колен медную ступку и с важным видом, прислушиваясь к звону, разбивала медным пестом кусочки сахара.

Так наперчил мне борщ Игнат Кузьмич, что даже слёзы выступили. Но я всю тарелку одолел и от второй не отказался.

Игнат Кузьмич тоже с аппетитом причмокивал и борщ похваливал, а сам всё поглядывал в открытое окно на свой садик.

Вдруг он отодвинул ложку, пошевелил усами и сказал, задумавшись:

— Да! И твой отец, Иван Сергеевич, как волчок, у печи вертелся!

Игнат Кузьмич никуда не спешил. Он всё вспоминал, как он на рыбалке с моим отцом уху варил; как сома в пять пудов однажды поймали, а может, и не пять, кто его взвешивал!

Игнат Кузьмич долго смотрел на Олю.

— Отец, отец — и лоб его, и взгляд, и усмешечка. Даже носик, как у сталеваара, облупился.

Матрёна Афанасьевна пила чай из блюдца и подробно расспрашивала нас о детском доме.

— Хорошо, хорошо воспитаны, — несколько раз повторил Игнат Кузьмич.

А Матрёна Афанасьевна всё продолжала допытывать. Я ей говорю: «Хорошо живём», а она словно не верит и вздыхает.

За окном темно, но свет в комнате не включали.

У окна что-то вспорхнуло и зашуршало.

Игнат Кузьмич пояснил:

— Летучая мышь. На чердаке квартирует. Повиснет вниз головой и спит. А сейчас самая её работа — вредных насекомых поедает.

— Не люблю я её, полуночницу! — возразила Матрёна Афанасьевна и стряхнула чайным полотенцем крошки со стола.

На стене тикали большие часы.

— Взгляни на свои, — сказал мне Игнат Кузьмич.

Стенные пробили десять. И у меня стрелки показывали ровно десять.

— Смотри не разбей! — строго сказала Оля.

Матрёна Афанасьевна ввела нас в просторную комнату. Сняла пикейные одеяла с кроватей, взбила подушки, постелила новые простыни.

Оля лежала на широкой кровати, и я на такой же — напротив. Как это было непривычно! Ведь уже столько лет мы не спали в одной комнате.

На этот раз я смотрел на Олю с особым

чувством. Я и раньше слышал, что сестра моя похожа на отца, но никогда об этом не думал.

Оля, едва дотронулась головой до подушки, сразу заснула.

Давно я не оставался в такой тишине. Горький комок подступил к горлу. Значит, теперь уже нечего ждать отца...

Я отвернулся к стене, закрыл глаза и увидел как наяву дом, в котором мы жили все вместе.

...Отец позволил мне поводить помазком по его небритой щеке. Как выгорели у него брови на солнце! Мать метит бельё, а потом складывает...

Я почему-то вспомнил, как купили мы новые стулья и как мне хотелось посидеть на каждом стуле, и я перелезал с одного на другой; вспомнил, как мама выбегала отцу навстречу; как отец мечтал о моторной лодке...

Вдруг мне показалось, что дом закачался. То ли во сне, то ли наяву я услышал неистовый крик.

Я с трудом открыл глаза и увидел: Оля в рубашонке стоит на постели и испуганно смотрит по сторонам.

Я хотел броситься к ней, но тут же увидел Матрёну Афанасьевну и Игната Кузьмича. Он был очень расстроен и перепуган, не знал, что сказать Оле. Она разбудила их громким криком.

— Ничего, ничего, — успокаивала мужа Матрёна Афанасьевна. — Это всё война. Растёт девочка во сне. — Она снова уложила Олю, а рядом с ней — куклу. Сестра не произнесла ни одного слова и снова заснула как ни в чём не бывало.

А мне не спалось. Я ворочался с боку на бок почти до самого рассвета.

Несколько раз таякнул пёс, и я вспомнил, как мы с Шурой, когда пробирались ночью к посёлку Лазурь, встретили большого лохматого пса с поднятыми острыми ушами. Он стремглав кинулся к женщине, которая шла впереди нас рядом с военным.

«Как же мы возьмём его с собой, когда людям негде поместиться. Я бы взяла его, а они что скажут?»

И тогда военный начал отгонять пса. А он вилял хвостом, словно упрасывая взять его с собой. Он полз за ними, вначале выл, а потом перестал и полз молча...

И тогда разорвалась мина.

Мы припали к земле. А когда поднялись, в свете вспыхнувшей ракеты увидели: пёс лежит, мёртвый, свесив набок умную морду...

На заре я заснул. А когда проснулся, окна в комнате были открыты и ветерок шевелил занавески.

Всё было залито солнцем.

Оли в комнате не было.

Я выбежал на крыльцо.

Игнат Кузьмич уже ушёл на мартен, и мне стало досадно, что я проспал гудки утренней смены.

Меня потянуло на улицу. Я открыл калитку и зашагал.

Вон там, за углом, была булочная. Я бегал туда за пряниками и любимым чайным хлебом. Этот новый дом выстроен недавно. Трансформаторная будка... Она сохранилась, и на ней всё тот же череп, а под ним — молнии.

С каждым шагом я приближался к тому месту, где стоял наш дом.

Груды обгорелого кирпича, а рядом, на расчищенной площадке, строительный материал.

Женщина-дворник поливала мостовую.

И мне сразу всё вспомнилось. Это они тогда вместе с Шурой подняли и понесли маму...

Вот она посмотрела на меня. Тётя Анюта?!

Тётя Анюта любила направлять струю из своего шланга в нас, мальчишек, и устраивать нам весёлую прохладную баню.

Сейчас на ней, как всегда, белый фартук. Неужели она прицелится в меня? Но тётя Анюта бросила шланг на землю, и струя ручейком потекла по земле.

— Белобрысый мой! — закричала она на всю улицу и кинулась ко мне.

Уже давно меня никто так крепко не обнимал.

— Ты помнишь меня? — спросила тётя Анюта и сама же ответила: — Ну конечно, помнишь! Я тебя знала, когда ты в пелёночках лежал, вот такой.— И тётя Анюта показала мне на свою ладонь.— Ну, а сестрёнка твоя?

— Оля здесь.

— Где здесь? Жива?

Я показал рукой на чёрную крышу.

Тётя Анюта подбежала к крану и закрыла воду.

— Как же не повидать мне девочку!

И она пошла со мной к Игнату Кузьмичу.

Через несколько минут тётя Анюта говорила Оле:

— Вот в таких платьицах ходила.

Потом тётя Анюта посмотрела на нас и сказала:

— Сразу видно, одного отца дети!

Значит, и я хоть немного, а похож на отца!

У калитки остановилась легковая машина.

— Почёт и уважение садоводам! — сказал директор. Он торопился: ему нужно было успеть в город. — Ну-ка, посмотри на свой хронометр, сколько на твоих? — весело спросил он меня.

И мы сверили время: пора...

Матрёна Афанасьевна и тётя Анюта пошли нас провожать.

— Держитесь друг за друга, двое — не один! — сказала нам Матрёна Афанасьевна и крепко поцеловала.

И вот опять замелькали новые корпуса, чередуясь с развалинами.

Директор, сидевший рядом с шофёром, то и дело оборачивался и спрашивал, что больше всего нам понравилось в Сталинграде.

Как удивился бы он, если бы я рассказал об абажурах!

Когда мы подъехали к подъезду школы, директор крепко пожал руку мне и Оле. И ещё я подумал: он заехал за нами и проводил не потому что я и Оля этого заслужили, а потому, что нашего отца знали, любили и помнили на заводе...

ЭПИЛОГ

Прежде чем закончить свой рассказ, я должен перевести часовые стрелки на много лет вперёд...

Я пошёл по стопам отца. Стал металлургом. На всю жизнь полюбил запах раскалённого металла.

До сих пор, когда издали вижу, как над мартеновскими печами поднимается зарево, всегда испытываю гордость за свою профессию.

Ну, а Серёжа? Кем он стал?

По следам Серёжиной памяти удалось разыскать только его родственников. Они жили в Одессе и в Ленинграде. От них и узнали, что Серёжин отец, инженер Дынин, погиб, когда советские моряки оставляли Таллинн. А своё имя моему другу менять не пришлось, потому что его действительно звали Сергеем.

Когда Сергей Дынин окончил семилетку, он не поехал ни в Одессу, ни в Ленинград к своим родственникам, а поехал к тому лётчику, который хотел стать его отцом. И они сдружились на всю жизнь.

Письма от Серёжи приходили из Архангельска, и из Владивостока, и из многих других городов. А потом на его конвертах стало красоваться: Ленинград. Осуществилась мечта Сергея — он стал слушателем Военно-Медицинской академии имени С. М. Кирова.

Оля стала садоводом.

Тысячи корней самых разных цветов высажены в Пионерском и Комсомольском садах нашего города. Выращенные ею цветы окаймляют братские могилы и мемориальные постаменты с небольшими моделями танков там, где проходил передний край сталинградской обороны.

Зелёную, пушистую траву пересекает линия красных цветов: тюльпаны, гвоздики, георгины, розы — смотря по сезону. Своим разноцветием они напоминают ленту медали «За оборону Сталинграда».

160 дней мы жили в окопах и блиндажах

среди тех, кто был награждён этой медалью. Мы были свидетелями Сталинградского сражения. Немыслимые страдания выпали на нашу долю.

Но воины-сталинградцы нас защитили. Они обогревали нас заботой и лаской, относились, как к родным, и мы всегда это будем помнить...

И пусть эти воспоминания о прошлом помогут лучше ценить и беречь настоящее.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая.</i>	
В последний раз вместе	5
<i>Глава вторая.</i>	
Совсем, совсем один	15
<i>Глава третья.</i>	
Я не один	30
<i>Глава четвёртая.</i>	
Среди развалин	38
<i>Глава пятая.</i>	
Подруги	56
<i>Глава шестая.</i>	
На самой передовой...	66
<i>Глава седьмая.</i>	
Орлов и его стереотруба	69
<i>Глава восьмая.</i>	
Пётр Федотович	76
<i>Глава девятая.</i>	
Письмо на Украину	82
<i>Глава десятая.</i>	
Перешли линию фронта!	87
<i>Глава одиннадцатая.</i>	
«Бабушка» и «внучек»	91
<i>Глава двенадцатая.</i>	
В подвале	100
<i>Глава тринадцатая.</i>	
По захваченной земле	107
<i>Глава четырнадцатая.</i>	
Тишина и канонада	119

<i>Глава пятнадцатая.</i>	
Пятиконечная звезда	128
<i>Глава шестнадцатая.</i>	
После битвы	130
<i>Глава семнадцатая.</i>	
Тоска гонит	140
<i>Глава восемнадцатая.</i>	
В детском приёмнике	147
<i>Глава девятнадцатая.</i>	
Прозоды	155
<i>Глава двадцатая.</i>	
На новом месте	159
<i>Глава двадцать первая.</i>	
После грозы	168
<i>Глава двадцать вторая.</i>	
Оля улыбнулась...	173
<i>Глава двадцать третья.</i>	
Старые и новые друзья	182
<i>Глава двадцать четвёртая.</i>	
Голубой обелиск	187
<i>Глава двадцать пятая.</i>	
Позывные	193
<i>Глава двадцать шестая.</i>	
Галя — Галина Ивановна	207
<i>Глава двадцать седьмая.</i>	
Лампочки	210
<i>Глава двадцать восьмая.</i>	
Манекен	216
<i>Глава двадцать девятая.</i>	
Серёжа вспомнил всё...	225
<i>Глава тридцатая.</i>	
Мы едем в Сталинград!	230
Эпилог.	251

Литературно-художественное издание

Для младшего и среднего
школьного возраста

Шмерлинг Владимир Григорьевич

ДЕТИ ИВАНА СОКОЛОВА

Повесть

Ответственные редакторы

А. М. Марченко, С. В. Орлеанская

Художественный редактор

В. А. Тогобицкий

Технический редактор

Н. Г. Мохова

Корректоры

И. Н. Мокина, Э. Н. Сизова

ИБ № 11054

Сдано в набор 20.03.89. Подписано к печати 4.09.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отг. 14,7. Уч.-изд. л. 10,66. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1823. Цена 75 к. Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сушьевский вал, 49.

Отпечатано с фотополномерных форм
«Целлофот».

Шмерлинг В. Г.

Ш72 Дети Ивана Соколова: Повесть/Худож. В. Горячев.— Перераб. переизд.— М.: Дет. лит., 1989.— 255 с.: ил.

ISBN 5—08—000478—9

Повесть о детях Сталинграда, оставшихся в осаждённом городе. Ребята находили и спасали советские войны, дети были невольными свидетелями исторического сражения на Волге.

Ш 4803010201—446
М101(03)-89

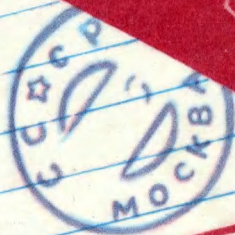
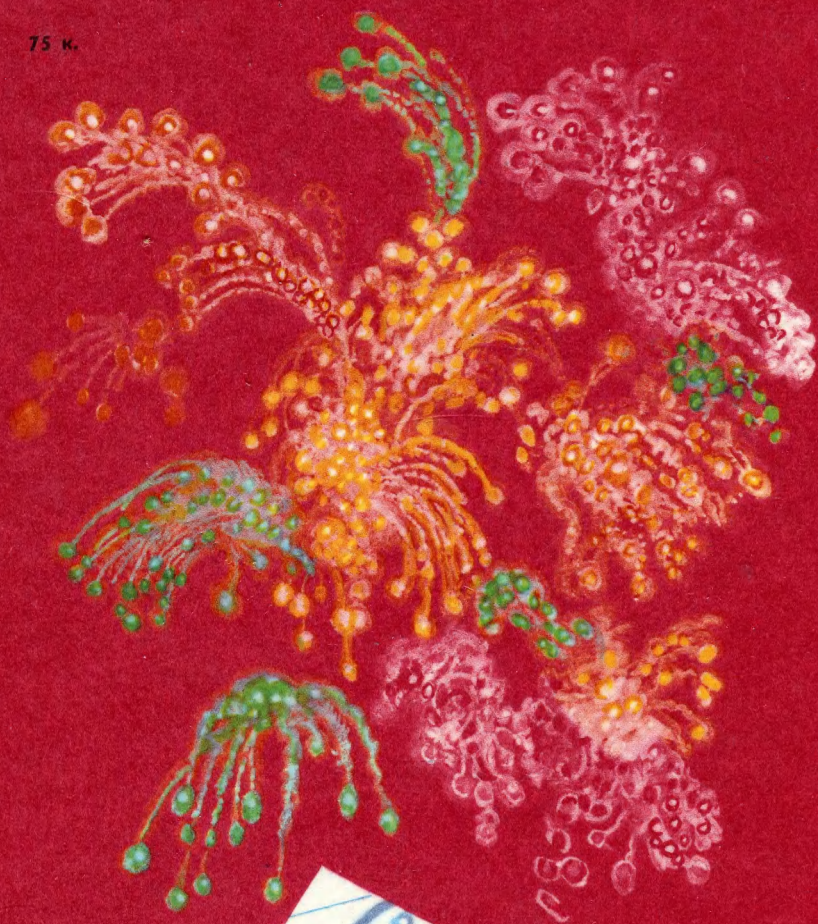
326—89

ББК 84Р7

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



75 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. ШМЕРЛИНГ ДЕТИ ИВАНА СОКОЛОВА—



ВЛАДИМИР
ШМЕРЛИНГ

ДЕТИ
ИВАНА СОКОЛОВА—

